МАРШАЛ В ЧУЖОМ МУНДИРЕ 2

СЕВЕРНЫЙ ТЕАТР



АЛЕКСАНДР ФРОСТ

Александр Фрост

Маршал в чужом мундире
2. Северный театр

«Автор»
2026

Фрост А.

Маршал в чужом мундире 2. Северный театр / А. Фрост — «Автор», 2026 — (Маршал в чужом мундире(полный))

Он год строил неприступный рубеж — и враг просто ударил в другом месте. Север горит, парадный флот погиб, двести вымпелов идут по империи. У Нахимова — пятнадцать кораблей, лучшие люди фронтира и сорок лет чужого опыта, который говорит: армию победителей убивает не бой. Её убивает дорога. Продолжение «Венца» — война в движении.

© Фрост А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Дорога на север 5
Глава 2. Смотр по всей форме 12
Глава 3. Их Устье 18
Глава 4. Эшелон Т-4 24
Глава 5. Ответ Лопуха 30
Глава 6. СамДурак организует всё сам 35
Глава 7. Волчица выходит 40
Конец ознакомительного фрагмента. 46

Маршал в чужом мундире 2. Северный театр

Глава 1. Дорога на север

Четыре недели пути до Северного театра я потратил на то, что делает всякий разумный полководец, едущий на чужую войну: я знакомился с противником заочно.

Материала было много. Пухов вёз с собой копию всего, что империя знала о Северной группе Конкордата, — а знала она, как выяснилось, позорно мало, и половину этого малого составляли парадные справки типа «командующий группой маршал Ланц, кавалер, женат, увлекается охотой».

— Семён, — сказал я на третьи сутки, отодвинув очередную справку. — Скажите честно. Вот это вот «увлекается охотой» — это вся наша разведка на человека, который ведёт двести вымпелов?

— Не вся, — сказал Пухов виновато. — Есть ещё перехваты. Много перехватов, шесть тысяч листов. Их никто не обрабатывал, потому что в штабе флота отдел Северного направления состоял из четырёх человек, и все четверо занимались... — он сверился, — организацией юбилейных мероприятий.

— Шесть тысяч листов перехватов, — сказал я. — Семён, вы понимаете, что вы мне сейчас подарили?

Пухов не понимал. Пухов был скромный человек.

А я понимал. Приказы, доклады, переписка, разносы — шесть тысяч листов того, как эти люди разговаривают. А как человек разговаривает, так он и воюет: это правило я вывел в первую свою войну и ни разу за сорок лет не видел исключения.

Мы засели за перехваты втроём — я, Пухов и Ольсен, которого я забрал с собой из аналитической, — и к концу второй недели пути у меня был готов первый рабочий документ новой кампании.

Я назвал его «Реестр противника».

Реестр я представил штабу на пятнадцатые сутки, в кают-компании «Стремительного», и это заседание Верейская потом описала в очерке, который цензура столицы дважды запрещала и трижды перепечатывала.

— Господа, — сказал я. — Перед вами командный состав Северной группы Конкордата. Докладываю по старшинству, с боевыми характеристиками и рабочими кличками. Клички прошу заучить и использовать в служебном обороте.

— В служебном? — переспросил Дуров... то есть, простите, Дурова с нами не было, Дуров держал Сурам. В кресле начальника штаба сидел Бурый, произведённый приказом по соединению, и смотрел на меня с обычным своим спокойствием. Переспросил Штоф:

— В служебном обороте, ваше благородие? Клички?

— Именно, Карл. Объясняю метод, один раз, запоминайте. Кличка — это не шутка. Кличка — это диагноз, сжатый до одного слова. Штаб, который говорит «соединение адмирала Хёгеля выдвигается к узлу», думает о Хёгеле десять секунд. Штаб, который говорит «СамДурак опять полез вперёд», уже знает, что делать. Кличка экономит время боя и, что важнее, не даёт бояться: невозможно бояться человека по кличке СамДурак. А теперь по личностям.

Я вывел первый лист.

— Командующий группой — маршал Ланц. Шестьдесят один год, любимец столицы, ни одного проигранного сражения, потому что ни одного и не было: вся карьера — манёвры и парады. Из шести тысяч листов перехватов его приказы — самые длинные и самые красивые.

Он воюет для отчёта, господа: каждое его решение сначала хорошо выглядит и только потом, если повезёт, хорошо работает. Кличка — **Юбилейный**. Запомнили? Юбилейный. Против него работает всё, что портит картинку: он будет медлить сутки, чтобы не докладывать некрасивое.

— А правая рука? — спросил Бурый.

— Правая рука интереснее. — Я перевернул лист. — Начальник штаба группы, адмирал Мерц. Вот он опасен: умён, начитан, аккуратен. Все грамотные решения группы — его. Но, — я поднял палец, — я прочёл двести его документов, и в каждом, слышите, в каждом он делает одно и то же: он предполагает, что противник поступит правильно. По учебнику. Он не верит в глупость, в наглость и в нарушение приличий. Кличка — **УмныйЛопух**. Умный — потому что умный, честно. Лопух — потому что его можно взять любым ходом, которого нет в учебнике, а у меня, как вы знаете, других ходов почти и нет.

Штоф уже открыто ржал, но записывал, я видел.

— Дальше — командиры корпусов, их три. Первый корпус — адмирал Хёгель. Про этого коротко: в перехватах за два года он дважды загнал собственные соединения в положения, откуда их вытаскивал Мерц, и оба раза докладывал об этом как о смелом манёвре. Храбр, быстр, самоуверен, начисто лишён тыла в голове. Кличка — **СамДурак**, и попрошу без вариаций: не «дурак» — дураков жалко, — а именно СамДурак, потому что всё, что с ним случится в этой кампании, он организует себе сам. Наша задача — вежливо не мешать.

— Второй корпус — адмирал Регнер. Осторожен до судорог: в наступлении держит скорость обоза, на каждый чих запрашивает штаб. Кличка — **Оглядкин**. Против него не надо воевать вообще — достаточно шуметь у него на фланге, и он остановит корпус сам.

— И третий корпус — вот тут внимание. — Я вывел последний лист. — Адмирал Дана Корвель. Женщина, сорок четыре года, из низов, выслужилась с рядовых в войну на дальних рубежах — единственная во всей группе, кто реально воевал. Приказы короткие, потери у неё вдвое ниже средних, солдаты за неё держатся. Перехваты показывают: Юбилейный её не любит и держит на вторых ролях. Кличка — **Волчица**, и это, господа, единственная кличка в реестре, которую я даю с уважением. С Волчицей мы будем драться всерьёз, и я вам сразу скажу планируемый метод: мы будем стараться, чтобы её и дальше держали на вторых ролях. Как? Очень просто: будем громко бить тех, кого двигают вместо неё. Юбилейный сделает выводы сам — неправильные, как обычно.

В кают-компании стояла рабочая тишина, в которой Пухов скрипел стилусом, занося реестр в делопроизводство.

— Вопрос, — подняла руку Верейская из угла, где сидела со своим блокнотом. — Командующий, а у вас есть кличка? Там, у них?

— Хороший вопрос, графиня. — Я усмехнулся. — Есть. Ойс, оперативник Западного крыла, в перехвате трёхмесячной давности называет меня «Кассир» — за квитанции. Мне нравится: точно и по существу. Плохо другое: Веннен в переписке зовёт меня иначе.

— Как?

— По фамилии, — ответил я. — Без эпитетов. Это, господа, худшая кличка из возможных: она означает, что человек думает обо мне всерьёз. Молитесь, чтобы в Северной группе меня называли посмешнее.

Вечером после заседания Верейская догнала меня в переходе.

— Командующий, вопрос для очерка, можно неудобный?

— Других у вас не бывает.

— Клички. СамДурак, УмныйЛопух. Это смешно, я сама смеялась. Но я обязана спросить: это не расчеловечивание противника? Столичные моралисты меня спросят — я хочу иметь ваш ответ, а не свой.

Я остановился.

— Хороший вопрос, графиня, отвечаю развёрнуто. Расчеловечивание — это когда противника называют нелюдью, чтобы легче было убивать. Посмотрите мой реестр: там нет ни одной клички про «нелюдь». СамДурак — это человек, и именно человеческое в нём — самоуверенность — мы используем. Волчица — это уважение, произнесённое вслух перед строем. Я запрещаю своим людям ненавидеть противника не из благородства, а из ремесла: ненависть застит расчёт. А вот смеяться над ним я им предписываю, потому что смех — это дистанция, а дистанция — это трезвость. И заметьте: над Волчицей у меня не смеётся никто. Смех в моём штабе дозируется строго по заслугам.

Верейская дописала и подняла глаза.

— Знаете, что я напишу в очерке? Что это первый штаб в истории, где юмор проходит по ведомости боевого обеспечения.

— Пишите. Пухов заведёт ведомость. Он обрадуется: у него давно не было новых форм отчётности.

Кестер за весь переход поднимался в рубку дважды, и оба раза — по делу.

Во второй раз он пришёл с картой. Со своей — засаленной, самодельной, к которой за месяц пути добавился новый лист, размеченный его рукой.

— Северные тропы, — сказал он, разворачивая. — Пока вы перехваты читали, я со стариками списывался. По транзиту у меня на севере семь должников и два свата. Смотри, командующий: вот их снабженческая ось — они гонят обозы по главной навигации, по маякам, как приличные. А вот, — он повёл пальцем в стороны от оси, — старые рудные дороги. Мёртвые для военных, живые для наших. Отсюда, отсюда и вот отсюда к их оси можно подойти на дистанцию плевка, и ни один маяк не пикнет.

Я смотрел на его лист долго.

— Кестер, — заметил я. — Сколько ваши должники возьмут за проводку?

— С тебя — ничего, — ответил Кестер. — Ты им уже заплатил, командующий, только не знаешь. Половина северного транзита месяц кормится байками про Сурам и квитанции. Они ждали, что кто-то придёт. Ты пришёл. С должников хватит и этого — а вот подряды после войны с тебя, и по-честному, как со старшинами было.

— Подряды будут. Семён, в реестр: северный транзит, семь проводников, два свата, расчёт — подрядами.

— И сватов записать? — уточнил Пухов.

— Сватов первыми, — сказал Кестер. — Сваты надёжнее должников: должник отдаст и забудет, а сват — это судьба.

Первую встречу с войной мы получили на двадцать вторые сутки, за неделю до театра, и она была не боем.

Она была конвоем беженцев.

Одиннадцать гражданских бортов — рудовозы, пассажирский лайнер со снятыми креслами, буксир, тянувший баржу, — ползли на юг без охранения, без общего командования и, как выяснилось при сближении, почти без воды: систему очистки лайнера сожгли перегрузом, на борту вместо четырёхсот пассажиров шло тысяча девятьсот.

Мы легли в дрейф на восемь часов. Зойкины техники чинили очистку, Марфа Игнатьевна развернула на лайнере то, что в её служебной документации значилось «пунктом горячего питания», а на деле было чудом о трёх котлах. Я прошёл по бортам сам.

Это надо было сделать — и не для них. Для себя. Я ехал воевать на театр, который знал по сводкам, а сводки не пахнут. Теперь театр стоял передо мной в коридорах лайнера: женщины с детьми на полу снятого салона, старик с орденами старой чеканки, державший на коленях клетку с птицей, девочка, спросившая у Бурого, настоящий ли он, и Бурый, ответивший «так точно» тем же голосом, каким докладывал о стыковке.

Старший конвоя — седой капитан рудовоза — нашёл меня перед отходом.

— Командующий, — сказал он. — Мне сказали, кто вы. Я одно спрошу: вы туда? — он мотнул головой на север.

— Туда.

— Тогда возьмите. — Он протянул планшет. — Тут всё, что я видел за три недели: где стоят их дозоры, где они уже поставили свои маяки, какие узлы разбиты, а какие целы. Я сорок лет вожу руду по северу, я эти дороги на ощупь знаю. Сгодится?

Я пролистал. Это была разведсводка, за которую любой штаб отдал бы эсминец: свежая, подробная, с датами.

— Сгодится, капитан. Что просите взамен?

— Ничего, — отозвался он. — Хотя нет, вру. Прошу. Там, у Гердана-Северного, остался мой напарник — не смог сняться, у него семья на грунте. Если будете в тех краях и будет возможность... — он не договорил.

— Фамилия напарника?

— Сойкин. Борт «Тёркин».

— Семён, в реестр: Сойкин, «Тёркин», Гердан-Северный. Пометка: долг конвоя.

Капитан смотрел, как Пухов записывает.

— И правда записываете, — сказал он с удивлением.

— У нас, капитан, всё записано. Потому за нами и ходят.

Первый бой новой войны случился на двадцать шестые сутки и продолжался, если по журналу, четыре минуты, а если по существу — четыре секунды.

Дальний дозор Конкордата — два корвета — висел на узле перехода, через который лежал наш путь, и делал то, что делают дозоры победившей стороны на четвёртой неделе победы: скучал. Мы шли на них из глубины, пятнадцать вымпелов, и по всем правилам нам полагалось либо обходить узел с потерей трёх суток, либо давить дозор с гарантией, что он успеет заорать на всю группу.

Я выбрал третье — то, что мы репетировали ещё на Сураме и что Штоф называл «номером с колокольчиком».

За час до подхода вперёд ушёл трофейный корвет — один из призов Тарниса, с родными обводами Конкордата и позывными, которые Пухов выудил из своих шести тысяч листов: позывные тылового перегонного отряда, гонявшего трофеи в ремонт. Вёл переговоры, разумеется, Штоф.

— Дозор узла, дозор узла, перегон девять-два, — затянул он на языке Конкордата с интонацией человека, которому все должны. — Веду сборную солянку призов на ремонтную базу, восемь единиц. Дайте коридор и не отсвечивайте, у меня половина без ходовых огней, имперское старьё, стыдно смотреть.

— Перегон девять-два, не наблюдаю вас в графике...

— А я тебе что, график? — оскорбился Штоф. — Ты видел, что на севере творится? У нас призов столько, что графики кончились. Не хочешь — я развернусь, а в рапорте напишу, кто именно сорвал сдачу трофеев к юбилею наступления. Фамилию продиктовать по буквам?

Пауза была недолгой. Слово «юбилей» в группе Юбилейного работало как пароль.

— Перегон девять-два, коридор дан. Проходите.

И мы прошли. Пятнадцать вымпелов, из них восемь под чужими огнями, честно изображая «имперское старьё» — что было нетрудно, — прошли в двадцати тысячах от дозора, помахав ему ходовыми, и корвет на прощание пожелал Штофу «дотащить рухлядь без приключений».

— Ваше благородие, — сказал Штоф, отключившись и вытирая лоб. — Заметьте: я снова не соврал ни слова. Мы действительно сборная солянка, действительно с призами и действительно идём туда, где будет ремонт. Просто ремонт будем делать мы. Им.

— Карл, — сказал я, — оформите мысль письменно. Повешу в школе.

На двадцать седьмые сутки, при проходе района, где по сводкам принял первый бой авангард парадного флота, дозорный катер подобрал капсулу.

Аварийная спасательная, флотского образца, с давно севшим маяком и живым гибернационным контуром — она дрейфовала в стороне от расчётных зон поиска, и заметил её не прибор, а глаз: молодой сигнальщик из третьего выпуска школы, которому я потом объявил благодарность с занесением, потому что глаз на войне надо поощрять наравне с храбростью.

В капсуле был один человек. Живой — если это слово применимо к тому, что остаётся от человека после семи недель гибернационного полусна.

Лейтенант Андрей Ланской, двадцать три года, четвёртая орудийная башня линкора «Император Пётр».

Из гибернации его выводили двое суток, и в лазарете «Стремительного» он очнулся, и первое, что сделал, — попытался встать для доклада. Его уложили. Он доложил лёжа, глядя в подволок, ровным, вычищенным от всего голосом, и я слушал стоя, потому что такие доклады слушают стоя.

«Император Пётр» шёл головным. Парадным ордером — приказ командующего: «встретить противника в строю, достойном флага». Первый залповый контакт линкор пережил, второй — нет. Ланской командовал уцелевшим расчётом башни, которая продолжала стрелять до обесточивания, потом выводил людей к капсулам через горящие ярусы. Его капсулу выбросило с сбоем катапульты — в сторону от общего разлёта, туда, где не искали.

— Сколько вас вышло из башни? — спросил я, когда он замолчал.

— Одиннадцать, господин контр-адмирал. До капсул дошли шестеро. Про их капсулы не могу знать.

— Узнаем. Семён — запрос по спискам спасённых, все узлы, приоритет. — Я помолчал. — Лейтенант. Один вопрос, и вы вправе не отвечать. На «Петре» в штабе флага служили два офицера по фамилии Нахимов. Вы что-нибудь...

— Знаю, господин контр-адмирал. — Ланской впервые повернул голову и посмотрел на меня. — Все на линкоре знали, что у героя Сурама на борту братья, — про это... про это шутили, простите. А капитан второго ранга Николай Александрович... Когда пошёл второй залп и флаг-мостик получил, он оказался у нас на батарейной палубе — их выбросило переходом. Он был ранен, но он встал и командовал у нас эвакуацией носовых расчётов, пока... Он остался у переборки, господин контр-адмирал. Держал секцию открытой на ручном приводе. Через ту секцию вышли сорок человек, я считал, я выходил последним. Он сказал мне...

Ланской запнулся — первый раз за весь доклад.

— Договаривайте.

— Он сказал: «Передай там, что Нахимовы, оказывается, ещё годятся». Я не понял тогда, кому передать, господин контр-адмирал. Теперь понимаю.

В лазарете было тихо. Марфа Игнатьевна у дверей стояла с подносом, который так и не поставила.

Я смотрел на этого мальчика и думал о брате, которого видел один раз в жизни, за семейным ужином, — о втором в очереди, красивом и пустом, глядевшем на меня свысока и говорившем о ценах на верфи. О человеке, который прожил сорок лет парадов — и в единственный настоящий час своей жизни встал к переборке и держал секцию, потому что в нём, как выяснилось, всё это время лежала неизрасходованная фамилия.

— Лейтенант. Передача принята. Долечивайтесь — и, если пожелаете, у меня в соединении есть вакансии для артиллеристов, умеющих стрелять до обесточивания.

— Желаю, — сказал Ланской раньше, чем я договорил.

Вечером я записал в свою длинную опись строку, которую не покажу никому: «Николай, второй. Я был неправ, посчитав тебя по одному ужину. Прости. Сорок человек через секцию — это больше, чем я знаю о половине своих маршалов».

А Пухову я продиктовал другое, служебное: разыскать всех спасшихся с «Императора Петра», списками, поимённо. Из них выйдет костяк, какого не даст ни один набор: люди, которые уже заплатили за чужие парады и теперь имеют право воевать по-настоящему.

Театр открылся нам на двадцать девятые сутки, и первое, что мы увидели, было кладбище.

Узел Астрахань-Дальняя — по сводкам месячной давности, живой транзитный узел с гарнизоном, — висел мёртвый: станция разбита, причальные фермы скручены, и вокруг, на десятки тысяч километров, дрейфовало то, что осталось от арьергардного боя парадного флота. Мы шли через это поле три часа, и три часа в рубке никто не разговаривал.

Ольсен считал. Я видел, как он считает, — по обломкам, по типам, по разлёту, — и не мешал: пусть аналитик переживает цифрами, это его способ.

— Восемь вымпелов первой линии, — сказал он наконец. — Здесь легли восемь. Судя по разлёту — строем, в лоб, не маневрируя.

— Парадный ордер, — сказал Бурый.

— Парадный ордер, — подтвердил я. — Запомните это поле, господа. Не для ненависти — для ясности. Вот так выглядит цена трёхсот лет парадов, выплаченная за один час людьми, которые не виноваты, что их так учили. Наша работа на этом театре — сделать так, чтобы это поле осталось самым большим. Всё остальное — детали.

На выходе из поля обломков нас ждала первая депеша театра.

Она пришла по флотскому каналу, с узла Крайний — последнего крупного узла, ещё державшегося за империей, — за подписью старшего из уцелевших начальников: вице-адмирал Гаген, командующий тем, что в депеше называлось «сводными силами Северного театра».

Депеша была из одного предложения, и предложение это стоило того, чтобы привести его целиком:

«Контр-адмиралу Нахимову: по прибытии в зону театра надлежит поступить в моё распоряжение и представить соединение к смотру».

В рубке стало тихо. Потом Штоф произнёс с благоговением:

— К смотру. Север горит, а нас — к смотру.

Я перечитал депешу дважды. Потом сказал:

— Семён, справку на Гагена. Полную. И подшейте депешу.

— Куда подшить? — спросил Пухов.

Я подумал.

— Заведите новый том, — продолжил я. — Назовите его «Реестр противника, часть вторая: свои».

Справку на Гагена Пухов принёс через час, и она объяснила депешу исчерпывающе.

Вице-адмирал Гаген, шестьдесят шесть лет. Всю службу — береговые штабы и инспекции. На Северный театр попал за полгода до войны — председателем комиссии по подготовке юбилейного смотра флота. Командующим «сводными силами» стал по старшинству производства: все, кто был старше, погибли на «Петре», все, кто воевал, — были младше. Под его командованием состояло: узел Крайний, два дивизиона охраны водного района, тыловые службы и — с сегодняшнего дня, по его мнению, — мы.

— Кличку заводить? — деловито спросил Пухов, занося справку в новый том.

Я подумал.

— Нет, Семён. Пока нет. Клички у меня зарабатывают делом — в любую сторону. Дадим человеку шанс: может, он просто напуган и цепляется за единственный порядок, который знает. Смотры — это тоже порядок, худший из возможных, но в его жизни другого не было.

— А если не шанс? — спросил Бурый. — Если он таки потребует смотр, пока север горит?

— Тогда, Захар, мы проведём ему смотр, — сказал я, и Штоф, знавший мои интонации лучше всех, начал тихо улыбаться. — Настоящий. По всей форме. Такой смотр, какого этот театр не видел триста лет. Курс на Крайний, господа. Идём представляться начальству.

Глава 2. Смотр по всей форме

Узел Крайний встретил нас очередью.

Очередь была за водой, тянулась через три яруса станции, и в ней стояли вперемешку беженцы, тыловые писари, матросы без кораблей и один полковник интендантской службы с двумя вёдрами. Полковник занимал очередь дважды.

Я шёл вдоль этой очереди от причала к штабу, и опись театра составлялась сама, без Пухова.

Узел, рассчитанный на восемь тысяч человек, держал на себе сорок одну тысячу. Вода — по норме беды, энергия — с веерными отключениями, у продовольственных складов — караул с примкнутыми штыками, что означало, что склады уже пробовали брать. На стенах висели приказы за подписью Гагена, и по номерам приказов — сто девяносто шестой за три недели — было видно, как человек тонет: «О недопустимости паники», «О порядке отдания чести в условиях военного времени», «О запрете слухов».

— Захар, — сказал я на ходу. — Оцените обстановку одним словом.

— Кемь, — заметил Бурый. — Только большая.

Точнее было не сказать. Это была Кемь — та самая, из его давнего рассказа: раненые на холодном металле, маты из тренажёрного зала и дежурный, которому не по инструкции. Только теперь на металле лежал целый театр военных действий.

Вице-адмирал Гаген принял меня в кабинете начальника узла, из окон которого была видна очередь за водой. Окна были зашторены.

Ему было шестьдесят шесть, и выглядел он на все свои плюс три недели катастрофы: отёчный, с трясущимися руками, в безупречном мундире, который сидел на нём как на вешалке, потому что человек внутри мундира кончился.

— Контр-адмирал Нахимов, — сказал он, не предлагая сесть. — Вы получили моё предписание.

— Получил, ваше превосходительство.

— Ваше соединение прибыло в мою зону ответственности. По старшинству производства командование театром принадлежит мне. Надеюсь, это не требует обсуждения.

Я смотрел на него и видел то, что видел десятки раз: человека, который держится за форму, потому что содержание кончилось. Сломать его можно было одной депешей — у меня в сейфе лежал приказ императора с «возражения предвидены и не принимаются», и Пухов с Вяземским ещё на Сураме расписали мне юридическую позицию на три хода вперёд.

Но сломанный Гаген был мне бесполезен, а этот театр и так состоял из обломков.

— Не требует, ваше превосходительство. Соединение «Венец» прибыло в вашу зону и готово представиться установленным порядком. Вы предписывали смотр.

Гаген моргнул. Он ждал боя — я видел по его рукам, — он три недели готовился к бою с «этим выскочкой», потому что бой с выскочкой был единственной войной, которую он умел вести.

— Смотр, — повторил он.

— Так точно. Прошу трое суток на подготовку: соединение с перехода, желаю представить его в надлежащем виде. И, ваше превосходительство, если позволите, — просьба. Смотр много выиграет, если совместить его с общим строевым смотром сил театра: личный состав, три недели видящий только эвакуацию, должен увидеть строй. Строй, — я выдержал паузу, — лучшее лекарство от паники, вы это знаете лучше меня, вы всю жизнь в этом.

И я увидел, как в отёчных глазах впервые появилось что-то живое.

— Общий смотр, — сказал Гаген медленно. — Сил театра. Вы полагаете... в нынешних условиях...

— Я полагаю, ваше превосходительство, что именно в нынешних условиях. Триста лет империя проводила смотры от благополучия. Проведём первый смотр от беды — и пусть его запомнят. Разрешите приступать?

— Приступайте, — сказал Гаген, и голос у него на этом слове почти не дрожал.

В коридоре Штоф догнал меня и спросил шёпотом:

— Ваше благородие, я одного не понял. Мы что, правда будем готовить смотр?

— Карл, — сказал я. — Мы будем готовить смотр так, как я готовлю смотры. Соберите штаб.

Штабу я объяснил замысел за десять минут.

— Смотр — это построение всех сил с проверкой состояния. Вдумайтесь в определение, господа: по-строе-ние всех сил с про-вер-кой со-стоя-ния. Это же приём дел театра, только с оркестром. Три недели тут никто не может сказать, сколько на узле людей, кораблей, воды и воинских частей. Через трое суток — к смотру — это будут знать все, потому что нельзя построить то, что не посчитано.

— Инвентаризация под музыку, — сказал Пухов с восхищением.

— Именно. Расписываю. Семён — учёт: к смотру мне нужны списки всего личного состава театра, по частям, с указанием специальностей. Формулировка для всех — «для составления порядка прохождения». Захар — строевая часть: всех матросов без кораблей свести в сводные роты, назначить командиров из уцелевших унтеров, трое суток занятий. Формулировка — «подготовка к прохождению». На деле — переформирование, вы понимаете.

— Понимаю, — продолжил Бурый. — А кто не захочет в сводные роты?

— Захочет. Довольствие — через ротные списки, я подпишу приказом. Кто не в списке, тот не в очереди за водой, а в хвосте её. Дальше. Зоя... Зои нет, — я до сих пор спотыкался об это место в штабе. — Ланской.

Лейтенант, три дня как из лазарета, шагнул вперёд.

— Вам — корабельная часть. К смотру все борта узла, включая гражданские, должны стоять по местам согласно диспозиции, которую составит Штоф. Формулировка — «для парадного построения». На деле вы мне за трое суток проведёте дефектацию всего, что плавает: что боеспособно, что ходит, что только выглядит. Справитесь?

— С «Петра» справлюсь, — сказал Ланской, и я отметил, что мальчик начинает разговаривать как наш.

— Марфа Игнатьевна.

— Тут я, — отозвалась она от двери.

— На смотру личному составу положено праздничное довольствие. Приказ подпишу. Что вам нужно, чтобы сорок тысяч человек в день смотра поели горячего?

Марфа Игнатьевна посмотрела на меня, потом куда-то сквозь переборку, где её опытный глаз, надо полагать, уже видел котлы.

— Триста помощников, десять полевых кухонь и чтоб интендант ихний, который с вёдрами, ко мне близко не подходил. — Она выдержала паузу. — Остальное найду.

— Интенданта с вёдрами беру на себя. — Я поставил чашку. — Господа, общее замечание. Всё делаем на полном серьёзе: репетиции, равнение, оркестр — оркестр найти обязательно, Семён, запишите: «оркестр — найти». Никакой иронии наружу. Этим людям три недели было не за что держаться. Дадим им то, за что умеет держаться солдат: строй, счёт и запах каши. А то, что под этим строем мы соберём театр обратно в вооружённую силу, — это пусть останется между нами и историей.

Трое суток подготовки к смотру Верейская потом описала одной фразой, которую я украл бы, если б умел завидовать: «На узле Крайний паника кончилась в тот час, когда сорок тысяч человек узнали, что в четверг им надлежит быть побритыми».

Узел преображался на глазах, и преображался единственным способом, каким преображаются толпы: получив ближайшую понятную задачу.

Сводные роты Бурого к исходу первых суток стучали сапогами по ярусам, и в этом стуке было больше лекарства, чем во всех ста девяноста шести приказах «о недопустимости паники». Списки Пухова к исходу вторых суток впервые за войну сказали театру, чем он располагает: тридцать восемь тысяч гражданских, три тысячи военных без частей, семьсот корабельных специалистов — золото, рассыпанное по очередям, — и одиннадцать боеспособных вымпелов сверх наших, о четырёх из которых штаб Гагена просто не знал. Дефектация Ланского нашла в дальнем доке недобитый эсминец «Резкий» с целым главным калибром и командой, которая три недели чинила его сама, никого не спрашивая, потому что спрашивать было некого.

Командира «Резкого» — угрюмого капитан-лейтенанта с обожжённой щекой — я спросил только об одном: почему не доложили о готовности.

— Докладывал. Дважды. Оба раза получил предписание сдать корабль на разборку и влиться в тыловую службу. На третий раз решил, что доложу тому, кто спросит про пушки, а не про разборку. Вы первый спросили.

— Реестр, часть вторая, — сказал я Пухову вечером. — Заведите раздел: «Найденные». Люди, которых театр потерял, а они не потерялись. Чую, раздел будет толстый.

А оркестр нашёлся сам. Точнее, его нашла Марфа Игнатьевна — среди своих трёхсот помощников по кухне обнаружился почти полный состав гарнизонного оркестра узла Астрахань-Дальняя, вышедший с разбитой станции пешим порядком, с инструментами, потому что «казённое имущество, как бросишь». Капельмейстер, получив приказ готовить смотр, заплакал, и Марфа Игнатьевна отпаивала его бульоном.

Интенданта с вёдрами, к слову, я взял на себя в тот же день, как обещал, и эта история разошлась по узлу быстрее любого приказа.

Полковник интендантской службы Купчин — фамилия, от которой Штоф при знакомстве издал звук подавившегося человека, вспомнив нашего незабвенного Купина с Ольгинской, — заведовал на Крайнем распределением воды и заведовал так, что стоял за ней в очереди сам. Дважды. При этом, по спискам Пухова, в его ведении числились три резервных танкера с водой, о которых очередь не знала.

Я вызвал его и задал один вопрос: почему.

— Резерв, господин контр-адмирал! — Купчин смотрел на меня честнейшими глазами. — Согласно наставлению, узел обязан иметь тридцатисуточный неприкосновенный запас воды на штатную численность!

— На штатную, — повторил я. — Восемь тысяч человек.

— Так точно!

— А на узле сорок одна тысяча, и люди стоят в очереди по шесть часов.

— Так они же сверхштатные! — сказал Купчин с мукой человека, которому не дают жить по правилам. — На них наставление не распространяется! Я запрашивал разъяснение по команде, трижды!

Я смотрел на него и понимал, что передо мной не вор — Пухов проверил первым делом, ни литра налево, — а нечто худшее: исправный механизм, работающий по инструкции посреди кораблекрушения. Таких не наказывают. Таких перенастраивают.

— Полковник, записывайте приказ. Пункт первый: сверхштатный личный состав узла Крайний считать штатным составом сводных сил театра, довольствие — на общих основаниях. Всё, полковник: наставление снова работает, можете выдыхать. Пункт второй: вам, как единственному человеку на узле, сохранившему неприкосновенный запас в неприкосновенности при осаде очередью в сорок тысяч, — благодарность в приказе и назначение: начальник службы нормирования театра, под начало вице-адмирала Гагена. Нормы будете считать те же и с тем же остервенением — только теперь на всех.

Купчин вытянулся так, что хрустнуло.

— А... а вёдра? — спросил он вдруг почти по-человечески.

— А вёдра, полковник, сдайте. — Я снял перчатки. — Начальнику службы нормирования стоять в очереди не по чину. Он теперь отвечает за то, чтобы очереди не было.

Не всё на узле встречало нас смотрами и слезами — справедливости ради занесу и это.

На вторые сутки подготовки ко мне явился флаг-капитан Роговцев — офицер связи штаба флота при «сводных силах», сорока лет, столичный, с почерком человека, который пишет много и не для адресата.

— Контр-адмирал, — сказал он, положив передо мной лист. — Я обязан уведомить: мною направлен в штаб флота доклад о том, что вверенное вам соединение по прибытии в зону театра занимается строевой подготовкой и организацией парада вместо ведения боевых действий. Копия — вам, порядок есть порядок.

Я прочёл. Доклад был составлен безупречно: ни слова лжи, каждое лыко в строку, и вся картина — вверх ногами. Талант, между прочим, редкий: врать правдой умеют единицы, я сам из них, мне ли не оценить.

— Благодарю за копию, флаг-капитан, — добавил я. — Одно уточнение для симметрии: я в ответ никаких докладов о вас направлять не буду.

Роговцев моргнул.

— Не будете?

— Не буду. Я поступлю хуже, — отозвался я. — Я включу вас в работу. С этой минуты вы — офицер связи при подготовке смотра: все документы, все списки, все донесения пойдут через вас, с вашей визой. Через трое суток вы будете единственным человеком театра, который заверил своей подписью каждый лист того, что вы назвали «организацией парада». И когда в штабе флота будут разбираться, что это было на самом деле, — а разбираться будут, смею вас заверить, — вам придётся выбирать, кем вы в этой истории значитесь: свидетелем обвинения или соавтором. Пухов выдаст вам первый том до обеда. Тома, предупреждаю, у нас толстые.

Роговцев ушёл с лицом человека, которому вручили гранату без кольца. К исходу третьих суток, по докладу Пухова, он визировал списки уже с карандашными пометками «предлагаю уточнить» — и пометки, что характерно, были дельные.

— В реестр его, часть вторая? — спросил Пухов.

— В реестр. Раздел «Перевоспитуемые». Кличка — Чернильница. Снимем, когда заслужит: у меня и клички, и амнистии — всё делом.

Смотр состоялся в четверг, в главном ангаре узла, и я записываю его в опись как одну из лучших операций своей жизни — по соотношению затрат и результата.

Принимал парад вице-адмирал Гаген.

Это было моё условие, и на нём я стоял насмерть против собственного штаба: старик, при всех его смотрах и шторах, был законным старшим начальником театра, и театру предстояло увидеть его — а не меня — во главе строя. Мне не нужна была власть над обломками. Мне нужен был театр, у которого не сломан хребет старшинства: сломанный хребет не срастается потом никакими победами.

И Гаген принял парад.

Он шёл вдоль строя — вдоль сводных рот, отбивающих шаг, вдоль экипажей у бортов, вдоль поварской сотни Марфы Игнатьевны в белом, вдоль моего «Венца», застывшего так, как умеют застывать только ветераны, которым это ничего не стоит, — и я видел, как с каждым шагом у старика распрямляется спина. У трибуны он повернулся к строю, открыл рот для уставного приветствия — и не смог. Стоял и смотрел. Сорок секунд, я засекал.

— Я думал, всё погибло, — сказал он наконец в мёртвой тишине ангара — не по уставу, стариковски, в голос. — Три недели думал: всё, кончилась империя на севере. А она вон. Стоит. Побритая.

И сорок тысяч человек ответили ему таким «ура», что с балок посыпалась пыль, а капельмейстер дал оркестру отмашку на два такта раньше положенного, и никто никогда не поставил ему это в вину.

Вечером Гаген вызвал меня к себе. Шторы были раздёрнуты.

— Контр-адмирал, — добавил он. — Я стар, но не глуп, хоть последние три недели давал основания сомневаться. Я понимаю, что вы сделали и зачем вам был нужен я на трибуне. Не благодарю — за такое не благодарят, такое отслуживают. Слушаю ваши предложения по театру. Настоящие.

— Предложение одно, ваше превосходительство. Разделим войну по-честному. Мне — фронт: соединение, рейды, всё, что стреляет. Вам — то, без чего фронт не живёт и что вы, смею сказать, умеете лучше меня: тыл, эвакуация, порядок на узлах. Сорок тысяч на Крайнем — это только начало, к нам покатится весь север. Им нужен начальник, который знает, как строить людей и считать воду. И, ваше превосходительство... им нужны будут смотры. Настоящие, как сегодня. Людям, которые всё потеряли, строй заменяет дом. Это будет ваша война.

Гаген молчал долго. Потом встал и — чего я не ждал — первым отдал честь.

— Принимаю, — пояснил он. — И вот ещё что, Нахимов. Депешу мою, первую... про «представить к смотру»... велите вашему делопроизводителю сжечь. Стыдно.

— Не велю. Она подшита, и она останется. Ваше превосходительство, через двадцать лет её будут читать в академии рядом с сегодняшним днём — и на этой паре документов учить, что из любого приказа можно сделать победу, если два начальника предпочтут дело самолюбию. Вы дали мне трое суток и трибуну. Половина сегодняшнего — ваша по праву.

Из очерка О. Верейской «Побритые» («Транзитный вестник»):

«На узле Крайний паника кончилась в тот час, когда сорок тысяч человек узнали, что в четверг им надлежит быть побритыми.

Я не шучу. Я видела, как это работает. Человеку, потерявшему дом, город и представление о завтрашнем дне, нельзя приказать не бояться — этот приказ здесь издавали сто девяносто шесть раз, я считала по стенам. Ему можно приказать побриться, подшить воротник и стоять в строю в четверг, в девять. И он побреется, подошьёт и встанет — а вместе с воротником, каким-то образом, подошьётся обратно и всё остальное.

Столичные стратеги спорят, чем силён Нахимов — минами, крепостями, дерзостью. Я неделю смотрю на него вблизи и отвечаю: он силён тем, что знает, за что человек держится, когда держаться больше не за что.

В четверг на Крайнем сорок тысяч человек держались за равнение. Держались, доложу вам, насмерть».

А ночью пришла разведсводка, ради которой всё и затевалось.

Кестер со своими проводниками вернулся с первого выхода по старым рудным дорогам, и его самодельный лист лёг на мою карту, как ключ в замок.

— Вот их ось. Всё как я говорил: гонят по главной навигации, жирно гонят, без ума. Конвои — каждые двое суток, охранение — пара корветов на брата. А вот тут, — он постучал пальцем, — узел Вязье, ихняя новая перевалка. Знакомая картинка, командующий?

Я смотрел на лист, и картинка была не просто знакомая. Картинка была родная: перевалочный узел на артерии снабжения, охраны кот наплакал, потому что глубокий тыл и кому он нужен.

— Устье, — сказал Штоф благоговейно. — Ваше благородие, это же их Устье.

— Это лучше, Карл. Это Устье, про которое мы знаем всё заранее, потому что один раз уже брали. Семён, поднимите наши тарнисские тома — всю механику: коды, интонации, квитанции. Господа, слушайте предварительный замысел...

И тут Пухов, сверявшийся со свежими перехватами, издал странный звук.

— Господин командующий. Тут... вам надо видеть. Перехват открытой трансляции из Гердана-Северного, из захваченной столицы театра. Маршал Ланц назначил на следующую неделю... — Пухов поднял глаза, и в них было что-то среднее между ужасом и восторгом, — парад победы. С прохождением войск, трофеями и трансляцией на оба государства.

В штабе стало очень тихо.

Потом все, не сговариваясь, посмотрели на меня.

— Юбилейный, — сказал я с нежностью, с какой произносят имя любимого ученика. — Нет, вы оцените, господа. Мы тут три дня готовили смотр, чтобы собрать разбитый театр. А он готовит парад — чтобы разбить собственный. Половина его боевых сил встанет на неделю красить борта и репетировать прохождение. Обозы будут возить трибуны вместо топлива.

Я подошёл к карте и положил ладонь на узел Вязье.

— Меняю предварительный замысел, господа. Мы не будем срывать его парад. Боже упаси. Мы сделаем всё, чтобы парад состоялся, — пышный, длинный, с трансляцией. А пока весь север будет смотреть на трибуны...

Я обвёл штаб взглядом.

— ...мы начнём есть его обоз. С Вязья. Натощак у трибун, господа, стоится особенно плохо — это вам скажет любой, кто служил.

Глава 3. Их Устье

Операцию по Вязью мы готовили шесть суток, и готовили её, как готовят ремейк любимого спектакля: труппа та же, декорации новые, зритель ничего не подозревает.

Тарнисские тома Пухов поднял в первый же вечер, и штаб два часа листал собственную молодость: коды, интонации, механику «мы не берём станцию — мы становимся станцией». Ланской, для которого это всё было легендой из очерков Верейской, читал с лицом семинариста, допущенного к первоисточнику.

— Значит, так же? — спросил Бурый, когда дочитали.

— Не так же, — сказал я. — Учитесь, господа, главному правилу повторных операций: повторять можно метод, нельзя — сроки. На Устье мы сидели пятьдесят три дня, потому что нам нужна была осада. Здесь осада не нужна — здесь нужна неделя. Ровно та неделя, пока Юбилейный репетирует и проводит свой парад, а его штаб боится докладывать ему некрасивое. Через неделю после парада сюда придёт проверка — мы уйдём за двое суток до неё. Итого: становимся Вязьем на десять суток. Но за эти десять суток, — я обвёл штаб взглядом, — мы сделаем то, чего не делали на Устье. Мы будем не только принимать грузы. Мы будем их отправлять.

— Куда? — спросил Штоф.

— По назначению, Карл. По нашему назначению.

Вязье взяли в ночь на вторые сутки парадной недели, и взятие заняло девятнадцать минут — на восемь минут дольше Устья, о чём Бурый доложил с искренним огорчением профессионала.

Механика была выверена до ноты. Трофейный корвет с перегонными позывными, облако технической пыли из аварийного клапана — Зойкина находка, вошедшая в золотой фонд, — и Штоф у микрофона, в этот раз в роли, которую он готовил как бенефис: снабженческий офицер парадной комендатуры.

— Вязье, Вязье, борт комендатуры Гердана, — понеслось в эфир с интонацией человека, замученного великим событием. — Принимайте порожняк под срочную загрузку, распоряжение штаба группы: к параду затребованы дополнительные объёмы по продовольствию и топливу для сводных колонн. Да, опять. Да, сверх графика. Нет, я не знаю, куда им столько, у меня написано «к торжествам», я вам зачитываю.

— Борт комендатуры, у нас не согласована...

— У вас будет не согласовано с маршалом Ланцем, — сказал Штоф скорбно. — Хотите — я так и передам: узел Вязье интересуется у командующего группой, зачем ему парад. Фамилию вашу продиктовать сразу или после ареста?

Швартовку дали через сорок секунд.

Дальше — по нотам: десант Бурого через грузовой шлюз, диспетчерская за две минуты, ноль погибших, двое ушибленных, оба наших и оба об одну и ту же скобу, которую Бурый потом велел спилить лично, «чтобы статистику не портила».

Гарнизон узла — двадцать шесть тыловиков — сдался с готовностью людей, которым война задолжала выходной. А диспетчер...

Диспетчером Вязья оказался немолодой мужчина по фамилии Гроль, и когда я вошёл в диспетчерскую, он посмотрел на меня поверх очков и сказал на неплохом имперском:

— Нахимов.

— Осведомлённость делает вам честь.

— Осведомлённость, — сказал Гроль, — делает честь моей сестре. Ирме Гарц. Узел Устье, если вам это что-то говорит.

В диспетчерской стало тихо. Штоф за моей спиной издал звук человека, увидевшего привидение.

— Она писала мне про вас два года назад, — продолжал Гроль, снимая очки. — Подробно. Дважды я ей не поверил. Поэтому давайте сэкономим время: вы сейчас предложите мне работать как работал, ничего не подписывать против совести, взамен — целый узел, целый персонал и квитанции. Так?

— Так, — сказал я.

— Тогда у меня одно дополнение к сестриному протоколу. — Гроль водрузил очки обратно. — Ей вы отбили руку. Мне попрошу ничего не отбивать: у меня артрит, и я в любом случае не собирался тянуться к пульту. Я собирался спросить, правда ли, что у вас в соединении кормят борщом, — сестра писала, но тут я ей тоже не поверил.

Десять суток узел Вязье работал на два государства, и работал, смею доложить, образцово.

Для Конкордата он принимал конвои с юга — топливо, продовольствие, боеприпасы для парадной группировки, — оформлял, подтверждал и отправлял дальше по оси. Всё честно, всё по накладным.

Просто дальше по оси конвои не доходили.

Здесь начиналась вторая половина замысла, та самая, которой не было на Устье. Пухов, изучивший диспетчерский оборот Конкордата до запятой, выписывал конвоям новые маршрутные предписания — подлинные бланки, подлинные коды, безупречный канцелярит: «в связи с мероприятиями парадной недели следовать через запасной коридор согласно приложению». И конвои, кротко благодаря за заботу, сворачивали в запасные коридоры — в старые рудные дороги, где их встречали проводники Кестера и сводные призовые команды Ланского.

Экипажам выдавали квитанции. К третьим суткам это уже не вызывало вопросов: север, как выяснилось, был наслышан.

К исходу парадной недели через Вязье было переадресовано одиннадцать конвоев. Сорок шесть бортов. Топлива — на два месяца операций соединения. Продовольствия — я увидел итоговую цифру Пухова и велел пересчитать, а пересчитав, сел: продовольствия было на прокорм Крайнего до весны.

— Отправляйте на Крайний первую очередь. Гагену, с описью. И вложите записку от меня лично.

— Текст? — спросил Пухов.

— Текст: «Ваше превосходительство. К предстоящему смотру эвакуационных колонн — довольствие. Прошу построить людей к обеду. Нахимов».

Парад Юбилейного шёл в это самое время, и мы смотрели его в прямой трансляции всем узлом — я распорядился вывести на общий экран, и это было лучшее политзанятие в истории соединения.

Гердан-Северный, захваченная столица театра. Трибуны. Оркестры. Маршал Ланц в белом, принимающий прохождение войск, — и войска шли красиво, этого не отнять: сорок вымпелов на парадных орбитах, батальоны в свежекрашеном, знамённые группы.

— Красиво идут, — сказал Штоф с видом ценителя. — Наши на Крайнем ровнее шли, но у наших мотивация была: борщ. А у этих что? У этих только маршал.

На вторые сутки трансляции внимательный зритель — а внимательнее нашего узла зрителя у трансляции не было — начал замечать прекрасное. Колонна тылового обеспечения прошла по площади с интервалами вдвое шире положенных. Вечернюю иллюминацию второго дня урезали наполовину. А на третьи сутки диктор с чудесной казённой невозмутимостью объявил, что «торжественная заправка кораблей сводной эскадры переносится по погодным условиям».

— По погодным условиям, — повторил Ольсен. — В космосе.

— Семён, — произнёс я. — Это в реестр. В раздел «Формулировки, которыми противник признаёт наши успехи».

Быт десяти суток на чужом узле заслуживает отдельного абзаца, потому что именно бытом такие операции и держатся.

Марфа Игнатьевна развернулась на камбузе Вязья к исходу первых суток и первым делом накормила пленный гарнизон — все двадцать шесть тыловиков, — исходя из своей неизменной доктрины: «Пленный, он какой? Он растерянный. А растерянного сперва корми, потом разговаривай». Гарнизон, неделю сидевший на концентратах парадного времени, после второго обеда начал здороваться с конвоирами первым.

Гроль борщ попробовал на третьи сутки — до того держался, из принципа, как я понимаю, научного скептицизма.

Он съел тарелку молча. Попросил вторую. Съел половину, отложил ложку и сказал в пространство:

— Двадцать лет я считал, что сестра склонна к преувеличениям.

— А теперь? — не удержался Штоф.

— А теперь я считаю, что она склонна к преуменьшениям. — Он кивнул. — Она писала «хороший суп». Это не научное описание явления.

Марфа Игнатьевна, услышав пересказ, отнеслась к триумфу буднично:

— Конкордатские — они все сперва не верят, — сказала она. — У них там, видать, с супом беда. Может, оттого и воюют.

Пухов, стоявший рядом, задумался с таким лицом, что я счёл нужным вмешаться:

— Семён. Нет.

— Что «нет», господин командующий?

— Гипотезу о супово-военной корреляции в реестр не заносить, — ответил я. — У нас серьёзное делопроизводство.

Занёс, конечно. Я потом видел: раздел «Наблюдения, не подтверждённые, но и не опровергнутые».

Верейская провела на Вязье все десять суток и работала так, что я дважды забывал, что она гражданская.

Один её разговор я записываю сюда целиком, потому что он объяснил мне про эту войну больше иных сводок. Она беседовала с пленным тыловиком — молодым писарем гарнизона — и спросила его, что он думает о происходящем на узле.

Писарь думал долго.

— Я не понимаю одного, — сказал он наконец. — Вы враги. Вы забрали наш узел, наши конвои и, судя по всему, наше наступление. Но вы платите сверхурочные, кормите этим вот супом и выдаёте бумаги с печатью. У нас в газетах пишут, что империя — это хаос и жестокость. Я готовился к жестокости. К накладным я не готовился. Как с этим... как с этим потом жить?

— А вы спросите у него, — Верейская кивнула на меня, я как раз проходил диспетчерскую.

Писарь собрался с духом:

— Господин контр-адмирал. Зачем вам всё это? Бумаги, оплата... Мы же никто. Мы пленный тыл.

— Затем, — сказал я, — что война кончится, а бумаги останутся. Вы вернётесь домой, будете рассказывать — и вам не поверят, как не верил Гроль сестре. Тогда вы покажете расчётную ведомость с моей печатью. Против ведомости, юноша, бессильна любая газета: газету пишут про врага вообще, а ведомость выписана лично вам. Я воюю с вашей армией. С тем, что вы будете рассказывать внукам, я не воюю — я в это вкладываюсь.

Верейская записала и вечером показала мне заголовок будущего очерка: «Война, застрахованная на сто лет вперёд».

— Пойдёт? — спросила она.

— Пойдёт. Только уберите «застрахованная». Страховка — это когда платят после беды. Я плачу до.

На седьмые сутки Ольсен принёс перехват, который мы потом цитировали до конца кампании.

Внутренний циркуляр штаба группы, за подписью УмногоЛопуха, разослан командирам корпусов: «В связи с систематическими нарушениями графика снабжения предписывается перепроверять маршрутные предписания дублирующим запросом... При выявлении признаков воздействия противника докладывать немедленно с пометкой „Бухгалтер“».

— Пометка «Бухгалтер», — прочитал Штоф вслух и поднял глаза. — Это они... это они нас так?

— Это они меня так, Карл, — отозвался я. — Точнее — то, что они пока обо мне понимают: некто, кто ворует по документам. Господа, зафиксируйте исторический момент: у нас появилась кличка у противника. Оцениваю её как тройку с плюсом — узко, но по существу.

— Обидно как-то. Мы им, понимаешь, целый парад испортили, а мы — Бухгалтер.

— Карл. — Я выпрямился. — Обиднее всего эта кличка будет им самим — потом, когда до них дойдёт её полный смысл. Бухгалтер — это ведь тот, кто сводит баланс. Я его и сведу. По всем статьям, с итоговой чертой. Семён — в реестр, зеркальный раздел: «Как противник называет нас». И проследите, чтобы школа выучила: врага надо слушать внимательно — иногда он формулирует про тебя лучше, чем ты сам.

Гердан-Северный, штаб группы. Четвёртые сутки парадной недели.

Адмирал Мерц положил перед командующим сводку и семь суток спустя честно занёс в личный дневник, что таких минут не желает и врагу.

— Господин маршал. Обязан доложить вне графика торжеств. Расход по группе превышает подвоз четвёртые сутки. Узлы оси подтверждают отправку конвоев в полном объёме. Конвои до войск не доходят.

Ланц, не оборачиваясь от окна, за которым репетировала знамённая группа:

— Мерц, я просил до конца недели с хозяйственным ко мне не входить. Что значит «не доходят»? Проверьте проводку.

— Проверил, господин маршал. Проводка безупречна: каждый конвой принят, оформлен и отправлен по маршрутным предписаниям. Предписания подлинные. Коридоры в них — запасные, введённые на парадную неделю. Господин маршал, штаб группы не вводил запасных коридоров.

Пауза была длинной.

— Кто вводил?

— Устанавливаем. Господин маршал, я обязан назвать рабочую версию, и прошу выслушать её до конца, прежде чем... Версия: в нашем тылу действует противник, использующий наш документооборот. Почерк совпадает с описанием операций контр-адмирала Нахимова на Западном...

— Нахимов, — Ланц наконец обернулся, и лицо у него было усталое и снисходительное, — заперт на своём Сурамском рубеже в трёх тысячах часов отсюда, Мерц. Вы предлагаете мне поверить, что он бросил свою знаменитую крепость и лично ворует мои накладные? После парада — извольте, разбирайтесь хоть с призраками. До конца недели — чтобы я слова «Нахимов» не слышал. У меня трансляция на оба государства.

— Слушаюсь, — сказал Мерц.

В дневнике в тот вечер он записал одну строку: «Худшее положение штабного офицера — быть правым до приказа об этом».

Уходили с Вязья на десятые сутки, за сорок часов до расчётного прибытия проверки, и уходили по-хозяйски.

Узел оставляли целым — это моё стандартное условие все знали наизусть, — персонал с расчётом за десять суток работы («сверхурочные — по двойной, ночные — по тройной», Пухов оформил ведомость, и Гроль, подписывая, бормотал, что сестра опять окажется права во всём). Документацию — в идеальном порядке, с одним дополнением: в диспетчерском архиве, на самом видном месте, осталась подшивка копий всех наших маршрутных предписаний, пронумерованная и снабжённая титульным листом «Для служебного расследования. Не благодарите».

— Зачем? — спросил Ланской, наблюдавший за сборами. — Это же... мы им сами всё показываем.

— Именно, лейтенант, — согласился я. — Считайте это второй лекцией после тарнисских томов. Через двое суток сюда приедет их проверка и найдёт папку. Что она докажет? Что противник неделю сидел на их оси, ел их обоз и вёл их документы лучше их самих. Это знание не поможет им вернуть ни тонны. Зато оно поедет наверх, к Юбилейному, к УмномуЛопуху, в столицу их группы — и начнёт разъедать то, что дороже топлива: уверенность. Армия, которая перестала верить собственным накладным, проверяет каждую бумагу трижды. Посчитайте, лейтенант, что это делает с темпом наступления, — вы артиллерист, у вас с арифметикой хорошо.

Ланской посчитал. По лицу было видно.

Последним с узла уходил Гроль — его с персоналом мы вывозили на нейтральный транзит, от греха.

— Нахимов, — сказал он у трапа. — Передать что-нибудь сестре? Я теперь, очевидно, обязан ей письмо, где признаю, что она была права. Дважды таких писем в жизни не пишут, так что пусть уж всё сразу.

— Передайте, — сказал я, — что третий контур на Устье, по моим сведениям, больше не течёт. И что борщ действительно существует — вы теперь свидетель.

Отдельного упоминания заслуживает первое дело Ланского.

Призовые команды на переадресованных конвоях водил он — я назначил его старшим этой линии сознательно, при возражениях Бурого («молодой, после капсулы, рано»), и объяснил своё решение штабу открытым текстом, при самом Ланском, потому что такие вещи надо объяснять при человеке:

— Захар, вы правы во всём, кроме главного. Лейтенант девятнадцать суток... семь недель провисел в капсуле, зная, что его флот погиб парадным ордером. Если я подержу его в тылу «пока окрепнет», он окрепнет в убеждении, что он — обломок погибшего флота. А он не обломок. Он офицер, который стрелял до обесточивания. Разница между этими двумя людьми — одно первое дело, и я ему это дело даю. Под присмотром, с двойной страховкой, но даю.

Первый его конвой — четыре борта с топливом — Ланской взял чисто, по всем нашим нотам: подход под перегонной легендой, вежливое разоружение охраны из двух корветов, которым Штоф до того час рассказывал в эфир про парадную неразбериху, квитанции экипажам.

А потом сделал то, чего не было в нотах.

Капитан головного танкера — старый конкордатский транзитник — на подписании квитанции спросил его с усталой злостью: «Что ж вы за флот такой, что с бумажками воюете? Настоящий-то флот ваш где?» И Ланской, как доложили мне присутствовавшие, ответил ровно:

— Настоящий наш флот лёг у Астрахани-Дальней парадным строем, потому что его триста лет учили красоте вместо войны. Я с него. Так что теперь мы воюем некрасиво, сударь: бумажками, супом и по ночам. Вам же лучше — некрасивая война, заметьте, обходится без похоронок. Распишитесь вот тут.

Капитан расписался молча.

Вечером я вызвал Ланского и сказал ему две вещи. Первую — что за операцию ему благодарность в приказе. Вторую — что фразу про некрасивую войну я забираю в школьный сборник, в раздел «Ответы», с указанием авторства.

— Там есть такой раздел? — спросил Ланской.

— Теперь есть.

А главное открытие Вязья лежало не в трюмах.

Оно нашлось на пятые сутки, в текущей переписке узла, и принёс его мне Пухов — молча, что у него означало высшую степень.

Транзитная заявка в общем потоке: узлу Вязье предписывалось в конце месяца принять и обеспечить «спецэшелон Т-4»: девять транспортов, следующих с оккупированных миров в метрополию Конкордата. Груз по накладной значился одним словом, от которого у меня остановился внутренний счёт.

«Специалисты».

Расшифровка шла приложением: инженеры верфей, энергетики, доковые мастера — четыре тысячи двести человек с семьями, «привлечённые к трудовому размещению в метрополии». Привлечённые. Пухов поднял по своим каналам, что стоит за словом: списки составляла оккупационная администрация, несогласие оформлялось как «уклонение».

Штаб молчал, читая.

— Угон, — сказал наконец Бурый то слово, которого все избегали. — Людей угоняют.

— Людей угоняют, — подтвердил я. — Четыре тысячи двести душ, девять бортов, конец месяца, и маршрут у нас в руках. Господа, планы меняются. Топливо и накладные — это была разминка.

Я положил заявку в центр стола.

— Следующей операцией мы забираем эшелон.

Бурый первым потянулся к заявке. Читал он медленно, шевеля губами, как читают накладную, в которой ищут не сумму, а подлог. Потом положил лист обратно и ничего не сказал, и вот это молчание я занёс себе отдельно: штаб принял задачу раньше, чем я успел её обосновать.

Глава 4. Эшелон Т-4

Операцию по эшелону я готовил иначе, чем всё, что мы делали до сих пор, и штабу объяснил разницу в первый же вечер.

— Господа, до сегодняшнего дня мы воевали с грузами. Груз — материя благодарная: он не паникует, не бежит в разные стороны и не гибнет от шальной болванки. Сегодня мы идём за четырьмя тысячами двумястами человек, из которых половина — женщины и дети. Поэтому правила меняются. Правило первое: ни одного выстрела в сторону транспортов, что бы ни происходило. Правило второе: операция отменяется на любом этапе, если под угрозой трюмы. Отменяю я, Бурый или Ланской — любой из трёх, без объяснений. Правило третье: план строим так, чтобы охранение эшелона сдалось само, и вот тут у нас проблема.

Я вывел сводку.

— После Вязья они поумнели. Эшелон Т-4 ведут не два корвета, как раньше водили конвои. Охранение — шесть вымпелов, включая эсминец «Гарпаг», плюс на головном транспорте идёт комиссар оккупационной администрации с полномочиями и связью. И главное...

Я вывел перехваченный циркуляр УмногоЛопуха.

— ...главное, господа: всякое изменение маршрута теперь подтверждается дублирующим запросом в штаб проводки. Наш любимый трюк с предписаниями они закрыли. Закрыл лично Мерц, и закрыл грамотно.

— То есть бумажки кончились, — сказал Штоф с печалью артиста, у которого отняли роль.

— Наоборот, Карл. — Я закрыл папку. — Бумажек стало вдвое больше — просто теперь нужна пара. Предписание и подтверждение. Вопрос залу, как в школе: если нельзя подделать запрос, что можно?

Пухов поднял голову от планшета первым — я по глазам увидел, что дошло.

— Ответ. Можно подделать ответ. Дублирующий запрос уходит в штаб проводки через ретрансляционную цепочку. Если сесть на ретранслятор...

— Если сесть на ретранслятор, — подтвердил я, — то запрос честно уйдёт, а ответ честно придёт. Просто и то и другое — через нас. Мерц построил замок с двумя дверями и повесил на вторую дверь замок. А коридор между дверями оставил общий. Кестер!

— Тут, — отозвался Кестер из угла.

— Ретранслятор РЦ-11, мёртвая скала на их линии проводки. Ваши сваты говорили, к ней есть подход?

— К ней есть подход, — сказал Кестер, — и есть бывший связист этой самой РЦ, который до войны халтурил на нашем транзите и должен одному из сватов за неудачную женитьбу. Не спрашивай, командующий, там долгая история. Связист будет.

Подготовку к перехвату Бурый вёл четверо суток, и вёл её так, что я дважды приходил смотреть, как на хорошую пьесу.

Абордажные и призовые команды он гонял на макете транспортного трюма, который сколотили в ангаре из контейнеров, и вводные у него были не про стрельбу.

— Ситуация, — гудел он, прохаживаясь вдоль строя. — Ты входишь в трюм. В трюме четыреста гражданских, месяц в дороге, света не видели, тебя боятся. У тебя оружие. Твои действия?

— Доложить обстановку... — начал молодой сержант.

— Отставить. Первое действие — ствол вниз и фонарь себе в лицо. Себе, не им! Чтоб видели: человек. Второе — голосом, по-имперски, громко: свои. Третье — не трогать никого руками, даже помогать, пока сами не потянутся: месяц в трюме — это когда от чужой руки

шарахаются. Четвёртое: увидел, что кто-то не встаёт, — не поднимай, зови санитара. Повторяем. Ты входишь в трюм...

Он гонял их до автоматизма, как гоняют расчёты орудий, и на мой вопрос, откуда программа, ответил, не задумываясь:

— Ольгинская, ваше благородие. Транспорт с ранеными, помните? Я тогда, как маты таскал, на всю жизнь выучил, как оно изнутри выглядит, когда ты лежишь, а над тобой ходят с властью. Вот и учу заранее, чтоб мои — с властью, а выглядели с помощью.

Я записал формулировку в школьный сборник, в раздел «Ответы», второй строкой после Ланского.

Ретранслятор взяли за девять суток до эшелона — тихо, тремя людьми Бурого и тем самым связистом, который, увидев родную аппаратную, растрогался и попросил разрешения «заодно починить четвёртый контур, он у них со сдачи хрипит».

Разрешили. Бурый потом докладывал с каменным лицом: «Объект захвачен и отремонтирован».

Дальше девять суток шла самая ювелирная работа кампании, и вёл её Пухов.

Через РЦ-11 шла вся проводочная переписка сектора, и мы её не трогали — ни единого знака. Запросы уходили, ответы приходили, Мерц мог гордиться своей системой. Пухов только читал — и к пятым суткам знал о движении эшелона Т-4 больше, чем его собственный комиссар: график, точки контроля, позывные, фамилию начальника охранения и даже жалобу интендантства на то, что «спецконтингент потребляет воду сверх норматива».

— Сверх норматива, — повторил Ольсен, читавший сводку рядом. Голос у него был нехороший. — Четыре тысячи человек в грузовых трюмах потребляют воду сверх норматива.

— Занесите. — Я прикрыл глаза. — В том, который для трибунала. Будет и такой том, господа, я вам обещаю: эта война кончится не только капитуляцией.

Перехват назначили на переход Гнилая Балка — старую рудную развязку, где линия проводки эшелона на восемь часов ныряла в мёртвую зону между скоплениями.

За сутки до входа эшелона в Балку через РЦ-11 прошло маршрутное предписание — подлинный бланк, безупречный канцелярит: «в связи с минной опасностью на основном коридоре эшелону Т-4 следовать запасной ниткой через Балку-два». Начальник охранения, наученный циркуляром, немедленно дал дублирующий запрос.

И получил ответ. Быстрый, с правильными кодами дня, с подписью штаба проводки: «Подтверждаю. Минная опасность. Исполнять».

Ответ сочинял Пухов, и я читал черновик: это было произведение искусства. Он даже воспроизвёл манеру конкретного оператора штаба проводки — тот в подтверждениях всегда ставил лишнюю точку после кода, и Пухов поставил.

— Семён, — сказал я, подписывая. — Признайтесь: вам это нравится сильнее, чем положено делопроизводителю.

— Господин командующий, — сказал Пухов с достоинством, — я о том и подавал рапорты, которых никто не читал: документ, составленный без любви, видно насквозь. Меня за это сажали. Теперь этим воюют. Я на своём месте.

Балка-два встретила эшелон приготовленной геометрией: узость, наши батарейные засидки по обеим стенкам — не для стрельбы, для веса, — и поперёк коридора, в лоб охранению, четыре вымпела «Венца» с включёнными прожекторами.

Прожекторы были идеей Штофа, и идеей гениальной: боевые корабли не ходят с прожекторами. С прожекторами ходят те, кто не собирается прятаться, — то есть те, у кого подавляющее превосходство. Шесть вымпелов охранения, войдя в узость, увидели перед собой освещённую неизбежность, засветку батарей с бортов и услышали в эфире голос — на этот раз не Штофа.

Говорил я сам. Есть переговоры, которые нельзя делегировать.

— Охранению эшелона Т-4. Говорит контр-адмирал Нахимов. Полагаю, фамилия избавит нас от вводной части. Ваше положение вы видите на тактическом экране; добавлю то, чего не видите: стенки коридора — это батареи, а за кормой у вас уже стоит заслон. Условия следующие. Экипажи охранения складывают оружие и получают стандартный пакет: жизнь, довольствие, квитанции, возврат по обмену. Транспорты не трогает никто — там ваши же соотечественники, и первый, кто наведёт орудие в сторону трюмов, будь он в вашей форме или в моей, ответит мне лично. На решение — десять минут. Начальника охранения прошу помнить, что я знаю его фамилию, послужной список и то, что у него в этом рейсе первый самостоятельный конвой. Капитан-лейтенант, не делайте первый конвой последним — статистика будет против вас в обоих смыслах.

Тишина в эфире стояла шесть минут.

Потом молодой голос сказал:

— Здесь охранение. Принимаю условия. Прошу зафиксировать: решение принял единолично, ответственность моя.

— Зафиксировано. И, капитан-лейтенант, — неофициально: это было верное решение, принятое быстро. Из вас выйдет командир. Постарайтесь дожить.

Единственным, кто не принял условий, оказался комиссар.

Он заперся в узле связи головного транспорта и успел выдать в эфир полторы фразы тревожного донесения, прежде чем связь ему вежливо выключили с РЦ-11 — Пухов держал палец на этой кнопке с начала операции. Брали комиссара люди Бурого, и Бурый потом занёс в рапорт формулировку, которую я цитирую по подлиннику: «Оказал сопротивление посредством портфеля».

А потом мы открыли трюмы.

Я приказал сделать это немедленно, на месте, до всякой сортировки, — и сам стоял у первого шлюза, когда пошла створка.

Этого я не забуду в третьей жизни, если она случится.

Из полутьмы трюма на нас смотрели люди. Молча. Плотно, семьями, с узлами, с детьми на руках — четыреста человек в трюме, рассчитанном на контейнеры, — и в первую секунду они не двинулись, потому что открытый шлюз мог означать что угодно, и хорошее в их опыте последних месяцев не значилось.

Потом из глубины кто-то спросил — негромко, по-имперски:

— Братцы... вы чьи?

И Бурый, стоявший рядом со мной, набрал воздуха и рявкнул на весь трюм тем голосом, каким когда-то останавливал драки на «Стремительном»:

— Свои! Флот империи! Выходи по одному, бабы с детьми первые, горячее на причале!

Что было дальше, лучше меня описала Верейская, стоявшая у соседнего шлюза, и я приведу её строки, потому что мои — не выдержат веса:

«Я не буду описывать, как они выходили. Скажу одно: за трое суток до того я смотрела, как эти же люди по спискам оккупационной администрации значились словом „контингент“. На причале Балки-два „контингент“ кончился в ту минуту, когда немолодой докмейстер с Гердана-Северного, выйдя из трюма, увидел строй в имперской форме — и начал поправлять на себе несуществующий китель. Люди становятся обратно людьми со скоростью открывания створки. Это самая важная техническая характеристика из всех, что я узнала на этой войне».

Марфа Игнатьевна с её службой кормила четыре тысячи двести человек одиннадцать часов без перерыва. К концу раздачи у неё сели голос и три помощницы, и когда я попытался сказать ей что-то благодарственное, она отмахнулась половником:

— Иди, Митенька, не под руку. Вот они пусть едят, а ты иди командуй. Каждому своё окопное.

Сойкина нашёл Пухов — по спискам, на вторые сутки разбора.

Борттехник Сойкин, борт «Тёркин», Гердан-Северный — тот самый напарник седого капитана с конвоя беженцев, «долг конвоя» из реестра. Он шёл в эшелоне с женой и двумя дочерьми: доковых специалистов Гердана мели под гребёнку.

Я вызвал его не в кабинет — просто подошёл на причале, где он уже, не дожидаясь никаких распоряжений, помогал Зойкиным... то есть Ланского техникам сортировать такелаж, потому что руки у докового человека не умеют висеть.

— Борттехник Сойкин?

— Так точно... — он вгляделся и подобрался. — Господин контр-адмирал.

— У меня для вас два сообщения. Первое: ваш напарник жив, вывел конвой на юг и просил вас найти. Найдено, о чём ему будет доложено. Второе: его сводка по северным дорогам легла в основу трёх операций, включая ту, из которой вы сейчас едите горячее. Так что, строго говоря, вас вытащил он. Я только исполнял.

Сойкин молчал, работая желваками.

— Передайте ему... — начал он и не справился. Начал снова: — Передайте, что за ним поляна. Такая поляна, что...

— Передам дословно. — Я сложил руки на столе. — И третье, уже от себя. Театру нужны доковые руки — отчаянно, у меня призовых бортов больше, чем людей, умеющих их держать в строю. Работа по вольному найму, оплата по имперским ставкам, семьи — на довольствии. Неволить не буду: вы своё отбыли.

— Неволить, — повторил Сойкин и посмотрел на меня как на человека, сказавшего глупость. — Господин контр-адмирал. Вы трюм открывали? Ну вот. Куда ж мы теперь от вас денемся. Показывайте, где у вас тут что чинить, — и это, дочек в школу бы. Говорят, у вас и школа есть?

— У нас всё есть, — ответил я. — У нас даже кот на довольствии. Правда, на другом театре.

Один раз всё висело на волоске, и об этом тоже надо честно — для школы, где эту операцию будут разбирать.

Начальник охранения — тот самый молодой капитан-лейтенант в первом самостоятельном конвое — оказался служакой дотошнее, чем мы рассчитывали. Получив наше подтверждение с «минной опасностью», он не успокоился: через двадцать минут дал второй запрос, нестандартный, не по форме проводки — лично дежурному по штабу группы, со ссылкой на циркуляр Мерца и просьбой «подтвердить голосом».

Голосом. Не кодами.

В аппаратной РЦ-11 стало очень тихо. Запрос уходил в штаб группы через нас — но ответ голосом означал, что отвечать должен живой дежурный офицер штаба, интонации которого молодой служака, возможно, знал.

— Не успеем подобрать голос, — быстро сказал Пухов. — В перехватах есть записи дежурных, но какой из них сегодня...

— Успеем не отвечать, — сказал Штоф.

Все посмотрели на него.

— Смотрите, — Штоф уже тянулся к пульту. — Он служака. Циркуляр Мерца он выучил наизусть. А что в циркуляре про несрочную голосовую связь через фельдъегерскую неделю? Семён?

— «Голосовые запросы несрочного характера в адрес штаба группы ограничить», — процитировал Пухов. — Пункт девять.

— Вот пунктом девять мы его и приласкаем.

И в эфир ушла ответная квитанция — не голос, текст, сухой, как весь Мерц: «Ваш голосовой запрос отклонён согласно п. 9 циркуляра 40-2. Напоминаю о режиме экономии канала. Подтверждение маршрута дано установленным порядком. Дежурный».

Пауза длилась четыре минуты.

Потом эшелон принял к исполнению и начал доворот на Балку-два, а Штоф вытер лоб и сказал в пространство:

— Люблю бюрократию. Она как броня: тяжёлая, неудобная, а прикрывает.

— Занесите. В сборник. И отдельно занесите вывод, серьёзный: нас сегодня чуть не поймал не Мерц и не система. Нас чуть не поймал добросовестный младший офицер, которому не лень было переспросить. Запомните это про противника, господа, — и втройне запомните про себя: переспрашивающий лейтенант стоит эскадры.

Допрос комиссара, для протокола, тоже опишу — Вяземский с Сурама, получив копию, ответил депешей из одного слова: «Наслаждаюсь».

Комиссар оккупационной администрации Дрекс, сорока восьми лет, с портфелем, который у него так и не отобрали — Бурый распорядился вернуть после досмотра, «пусть держится, человеку без должности страшно», — на первом допросе занял позицию гордого молчания по существу и высказывания протестов по форме.

— Я заявляю протест, — сказал он. — Захват эшелона является нарушением конвенций о...

— Принято. Семён, зафиксируйте протест. Теперь моя очередь. Комиссар, я не буду спрашивать вас о военном. Я спрошу об административном, по вашему профилю. Вот накладная эшелона Т-4. Графа «наименование груза». Написано: «специалисты». Вопрос: почему не «люди»?

Дрекс моргнул.

— Это установленная форма номенклатуры...

— Понимаю. Установленная форма. А вот жалоба интендантства: «спецконтингент потребляет воду сверх норматива». Норматив, комиссар, — восемь литров на единицу в сутки. Единица — это у вас человек с ребёнком на руках. Я воевал две... я много воевал, комиссар, и видел всякое зверство, но зверство обычно орёт и жжёт. Ваше — заполняет графы. Поэтому протокол мы построим так: я буду зачитывать ваши документы вслух, а вы — молчать гордо. Для трибунала этого достаточно: бумаги красноречивее вас.

Комиссар молчал уже не гордо.

— Один вопрос всё-таки задам, человеческий, — сказал я, закрывая папку. — Вечером вас покормили с общего котла. Борщ. Вы съели две тарелки, мне доложили. Скажите, комиссар: когда вы ели, вам не пришло в голову посчитать, на сколько литров сверх норматива вы сегодня потребили?

Дрекс смотрел в стол.

— Уведите. Довольствие — по норме. По человеческой.

Эшелон уводили на Крайний двое суток, под всем охранением, какое я мог дать, и Гаген встретил его так, как умел теперь только Гаген.

Он построил на причальных ярусах оркестр.

Четыре тысячи двести человек, месяц ехавших в трюмах под словом «контингент», сходили по трапам под встречный марш, и старый вице-адмирал стоял у трапа первым и каждому — каждому, одиннадцать часов подряд, ему дважды приносили стул, и дважды он его отсылал — говорил одно и то же: «С возвращением домой».

Мне он потом сказал, устало снимая перчатки:

— Вы были правы тогда, Нахимов. Это моя война. Всю жизнь готовил смотры и не знал зачем. Теперь знаю: вот за этим. Чтобы было кому встречать.

Через неделю после прибытия эшелона я был на Крайнем по делам театра и увидел то, ради чего, подозреваю, и затеваются войны, — хотя формулируют это всегда иначе.

В четвёртом ярусе, в бывшем складском отсеке, работала школа. Обычная, детская: Гаген развернул её приказом по тылу на третий день, реквизировав под классы «излишки административных помещений» — то есть кабинеты, которые начальство узла копило десятилетиями. Учителей нашлось одиннадцать, из них двое — из эшелона Т-4.

Я зашёл без предупреждения и постоял у двери.

Шёл урок арифметики. Девочка лет девяти у доски делила в столбик, сбивалась, начинала снова, и класс — человек тридцать, от семи до двенадцати, половина в перешитом взрослом — следил так, как в моей прошлой жизни не следили и за штурмом.

Дочь Сойкина, как выяснилось. Старшая.

Учительница заметила меня, начала подниматься — я показал ладонью: сидите — но было поздно, класс обернулся, и тридцать пар глаз уставились на мундир.

— Это кто? — громким шёпотом спросил кто-то с задней парты.

— Это, — сказала учительница, — контр-адмирал Нахимов.

Пауза. Потом та самая девочка у доски, насупившись, спросила то, что, видимо, считала главным вопросом к военной власти:

— А вы правда трюм открывали?

— Правда.

Она кивнула — серьёзно, как принимают доклад, — и сказала:

— Мы тогда доделим. Вы не мешайте, у нас контрольная.

И я вышел, аккуратно прикрыв дверь, и стоял в коридоре четвёртого яруса дольше, чем положено командующему, у которого война.

Вечером я записал в длинную опись одну строку: «Контрольная по арифметике на узле Крайний. Занести в список того, что мы обороняем. Первым пунктом. Всё остальное — обеспечение».

А ночью пришли две сводки, закрывшие главу.

Первая — от Ольсена: перехват доклада в штаб группы о потере эшелона Т-4 с охранением. Подпись под докладом стояла не проводочная и не корпусная. Подпись стояла — адмирал Мерц, лично, и в последней строке доклада УмныйЛопух впервые на моей памяти позволил себе в служебном документе неслужебную фразу: «Прошу командование зафиксировать: противник читает нашу переписку. Вопрос лишь в том, где именно, — и я это найду».

— Найдёт, — сказал я, дочитав. — Этот — найдёт. Кестер, готовьте РЦ-11 к оставлению: связиста и людей снять в течение трёх суток, аппаратную оставить в рабочем состоянии, четвёртый контур пусть хрипит как раньше — нечего их баловать.

Вторая сводка была короче и хуже.

Комиссар с эшелона — тот, с портфелем, — на первом же допросе, гордо отказавшись отвечать по существу, счёл нужным сообщить нам с торжеством в голосе, что «Т-4 — четвёртый», и что эшелоны первый, второй и третий уже дошли до метрополии, а пятый и шестой — формируются.

Я стоял над картой северных секторов ещё час после доклада.

Пятый и шестой формируются.

— Семён, — сказал я наконец. — Реестр, новый том. Название: «Списки на возврат». Первой записью — эшелоны один, два, три: установить составы, места размещения в метрополии, всё, что можно, по любым каналам. Эта война кончится переговорами, господа, я говорил и повторяю. Так вот, к переговорам у меня будет своя ведомость. И по ней, — я закрыл карту, — по ней они вернут всех. До последней фамилии.

Глава 5. Ответ Лопуха

УмныйЛопух ответил через одиннадцать суток, и ответил так, что я собрал штаб на разбор его мер как на учебное занятие.

— Читаю по пунктам, господа, и прошу конспектировать: перед вами работа противника, который учится. Пункт первый: вся маршрутная переписка группы переведена на фельдъегерскую доставку. Не радио, не ретрансляторы — живой офицер с пакетом на борту каждого конвоя. Дорого, медленно, надёжно. Пункт второй: конвои укрупнены втрое и ходят раз в шестеро суток под охранением от восьми вымпелов. Пункт третий: на узлах оси введены коменданты из боевых офицеров с правом останавливать любой борт до личной проверки. И пункт четвёртый, мой любимый...

Я вывел перехват открытого циркуляра.

— «Всем частям группы: при получении любых распоряжений, ссылающихся на парадные, юбилейные и иные торжественные мероприятия, — исполнение приостановить, доложить в штаб». Вдумайтесь, господа. Мерц официальным циркуляром запретил собственной группе верить слову «парад». Штоф, вы понимаете, что вы наделали? Вы убили жанр.

— Жанр не убьёшь, ваше благородие, — скромно сказал Штоф. — Жанр переодевается.

— Итог, — продолжил я. — Документная война закрыта. Закрыта грамотно, честно признаю: я бы закрывал так же. Вопрос залу: что мы выиграли и что проиграли?

Отвечал, по заведённому порядку, младший — Ланской.

— Проиграли инструмент. Выиграли... — он посчитал, — выиграли темп противника? Фельдъегеря и укрупнённые конвои — это же плюс двое-трое суток на каждое плечо снабжения.

— Плюс охранение, — добавил Бурый. — Восемь вымпелов на конвой при конвое раз в шестеро суток — это... Семён?

— Это тридцать два — сорок вымпелов, постоянно связанных охраной оси, — отчеканил Пухов. — Пятая часть боевого состава группы.

— Вот. Вот главный итог, господа, и он важнее всех наших трофеев: мы ещё не дали ни одного сражения, а пятая часть их флота уже не воюет — она возит. Запишите принцип, он старше меня: армию побеждают дважды — сначала заставляют её охранять саму себя и только потом бьют то, что осталось. Мерц это тоже знает, поэтому смотрите его пятый пункт — он в перехваты не попал, но я его вам предскажу: Лопух сейчас считает, сколько вымпелов нужно, чтобы не охранять ось, а зачистить её. Найти нас и снять проблему в корне. И вот когда он доложит этот расчёт Юбилейному — начнётся следующая глава этой войны.

Гердан-Северный, штаб группы. Тот же вечер.

Расчёт лежал перед маршалом Ланцем второй час, и второй час маршал искал в нём ошибку.

— Шестьдесят вымпелов, — сказал он наконец. — Мерц, вы предлагаете снять с направлений треть группы и отправить её гоняться по рудным пустошам за... — он сдержался, — за соединением, численность которого вы сами оцениваете в пятнадцать-двадцать единиц.

— Я предлагаю, господин маршал, привести наряд сил в соответствие с задачей. Задача — не «догнать двадцать вымпелов». Задача — взять под контроль район манёвра противника, а район — это восемь тысяч часов кубатуры со старой рудной сетью, которой нет на наших картах. Меньшим нарядом мы будем не зачищать, а патрулировать, то есть кормить его добычей малыми порциями.

— Наступление, Мерц. У меня наступление. Столица ждёт выхода к рубежу Двины к исходу квартала, я докладывал график лично. Я не могу остановить три корпуса из-за интендантской проблемы.

Мерц помолчал.

— Господин маршал. Прошу занести в протокол совещания моё особое мнение, дословно: происходящее не является интендантской проблемой. Происходящее является кампанией на наших коммуникациях, спланированной и управляемой лично противником, находящимся в этом районе. Продолжение наступления при открытой оси приведёт группу к позиционному голоду в пределах двух месяцев.

Ланц долго смотрел на своего начальника штаба.

— Заносите что хотите, — сказал он устало. — Вы и ваш протокол. Хорошо. Даю вам не шестьдесят — даю двадцать. И знаете что, Мерц? Раз вы так верите в персону противника — дайте и ему персону. Хёгель четвёртую неделю требует самостоятельной задачи. Вот и поручите Первому корпусу обеспечение тыла. Пусть покажет себя.

Мерц закрыл глаза на полторы секунды — ровно на столько, на сколько это позволительно начальнику штаба в присутствии командующего.

— Слушаюсь, — сказал он.

Вечером в дневнике он записал: «Итог дня: против лучшего оперативника противника мой командующий выставил СамДур...» — здесь адмирал Мерц остановился, перечеркнул недописанное и с отвращением к себе вывел: «...адмирала Хёгеля. Примечание: клички противника заразны, как и его методы. Это тревожит меня больше конвоев».

Депеша из столицы империи пришла на той же неделе, и её мы читали всем штабом дважды: первый раз молча, второй — уже с комментариями.

Столица извещала: сформирован Северный экспедиционный флот метрополии — двадцать восемь вымпелов первой линии, развёрнут с юга, расчётное прибытие на театр — семь недель. Командующим флотом назначен адмирал светлейший князь Щербатов.

Справку на Щербатова Пухов выдал по памяти, не заглядывая: шестьдесят лет, командующий столичным парадным округом, дальний свойственник двора, боевого опыта — ноль целых, смотровых — сорок лет. К депеше прилагалась выписка из директивы, ради которой всё и читалось дважды: «По прибытии экспедиционного флота общее командование силами на театре осуществляется старшим по чину».

Старшим по чину был полный адмирал Щербатов.

— Кличка? — деловито спросил Пухов, открывая «Реестр, часть вторая: свои».

— Погодите с кличкой, — пояснил я. — Сначала оценка обстановки. Господа, докладываю её вам честно, без чинов: через семь недель сюда придут двадцать восемь кораблей — это хорошо, корабли нам нужны отчаянно. Приведёт их человек, который сорок лет готовил парады, — и это знакомо: у противника такой же, зовут Юбилейный, вы видели, что он делает с флотом. Разница одна, и она не в нашу пользу: Юбилейный — их проблема. Щербатов будет наша, причём с правом отдавать мне приказы.

— И что делать? — спросил Ланской.

— То же, что всегда, лейтенант: готовить местность. Только местность на этот раз — не рудные дороги. — Я усмехнулся. — Семь недель у нас есть. За семь недель этот театр должен воевать так громко, так успешно и так публично, чтобы к прибытию светлейшего князя любой его приказ «отставить и перестроиться» звучал как государственная измена. Верейская!

— Здесь, — отозвалась графиня из своего угла, уже записывая.

— Ваш фронт работ на семь недель — сделать этот театр самым читаемым местом империи. Всё, что можно печатать, — печатайте. Фамилии, эшелон, Гаген с оркестром — всё.

— А кличка-то, — не выдержал Штоф. — Кличка Щербатову будет?

— Будет, — ответил я. — Но, заметьте, авансом и с надеждой на амнистию: Смотрящий. В обоих смыслах, Карл, в обоих смыслах. Какой из двух победит — увидим через семь недель.

Первым на закрытие документной войны отреагировал, разумеется, Кестер — с практичностью человека, у которого на всякий замок есть сват.

— Фельдъегеря, значит, — сказал он, изучив сводку. — Живой офицер с пакетом. Командующий, а чего мудрить? Мои ребята таких офицеров... ну, скажем, встречали в прежние времена. Пакет вскрывается паром, офицер едет дальше довольный. Дать команду?

— Не дать.

— Почему? Жалко их, что ли?

— Жалко систему, — сказал я. — Смотрите, Кестер, это важно, я при школе объясню, пусть пишут. Фельдъегерская связь — это лучшее, что Мерц мог для нас сделать, только он об этом не знает. Она медленная — раз. Она дорогая — два. И три, главное: она заставила его штаб поверить, что канал наконец чист. Пока они в это верят, вся их система стоит на одной опоре. Тронем хоть один пакет, попадёмся хоть раз — Лопух введёт двойных фельдъегерей, кодовые вкладыши, и опора станет тройной. Нетронутый фельдъегерь ценнее вскрытого, потому что он возит не только их приказы. Он возит их спокойствие. А спокойствие противника — это ресурс, который надо тратить в правильный момент, крупно и один раз. Момент придёт — я скажу. До тех пор фельдъегерей беречь: увидите — помогите с дорогой, что ли.

— С дорогой помочь, — повторил Кестер и вдруг заулыбался всеми морщинами. — Слушай, а ведь это мысль. У меня как раз сват на транзитной заправке ихней линии...

— Кестер.

— Молчу. Берегу. Помогаю с дорогой.

РЦ-11 люди Мерца нашли через восемь суток после нашего ухода — Ольсен отследил по всплеску служебного трафика, — и по перехватам можно было восстановить сцену почти художественно.

Досмотровая партия доложила: ретранслятор в исправном состоянии, следов противника нет, аппаратура работает штатно... за одним исключением. Четвёртый контур, числившийся по формулярам неисправным со сдачи объекта, оказался отремонтирован. Качественно. С заменой узла и регулировкой.

Доклад об этом ушёл наверх с пометкой «необъяснимое», и через сутки Ольсен принёс перехват ответа — личного, за подписью Мерца: «Объяснимое. Работал противник; ремонт — его почерк: они чинят то, чем пользуются, из уважения к технике. Объект считать скомпрометированным с даты последней ревизии. Всю прошедшую через РЦ-11 переписку за период — считать прочитанной противником. Начальнику связи группы: если вам нужно понять, с кем мы воюем, перечитайте этот доклад: нас обокрали и оставили объект в лучшем состоянии, чем приняли».

— Он нас почти хвалит, — сказал Штоф, дослушав.

— Он нас изучает, Карл. Это хуже. Похвала противника — приятный шум. А вот когда противник начинает правильно предсказывать твой почерк — это счётчик, который тикает. Семён, пометьте в реестре у Лопуха: «опасность растёт». И связиста нашего поощрите: его ремонт стал разведпризнаком, такое не каждому дано.

С Сурама в ту же неделю пришло письмо от Строева — фельдъегерской почтой империи, в конверте без грифа, как он любил.

«Контр-адмиралу Нахимову.

Докладываю по-стариковски, без формы.

Рубеж стоит. Веннен за месяц провёл четыре разведки боем — все четыре об вашего Дурова, как об стену, причём стена вежливо не преследовала, чем, по моим наблюдениям, бесит Веннена сильнее потерь. Ремизова на «Замке» завела порядок, при котором мне, ста-

рику, дважды сделали замечание за нахождение в посту без дела. Я счастлив, если вам интересно.

Клюев провёл первый самостоятельный бой — засадный, в горле, снял у противника тральную партию и отошёл без потерь. Разбор его боя я писал сам, и впервые за тридцать лет мне не хотелось ставить ни одного минуса.

Школу вашу веду в четыре руки с Дуровым. На последнем выпуске задал курсантам вопрос: что главное вывез с театра ваш командующий? Лучший ответ дал сын старшины с четвёртой батареи, демидовский, — они теперь у нас учатся, оба. Ответ: «Главное он не вывез. Главное он оставил». Передаю вам дословно, употребите по назначению.

Веннен, к слову, про вас спрашивал. Не удивляйтесь: у нас тут случился обмен ранеными, и его флаг-офицер, передавая списки, поинтересовался у нашего — «как поживает известное лицо». Наш ответил, что известное лицо поживает на севере, о чём Конкордат, вероятно, уже осведомлён. Флаг-офицер сказал: «Осведомлён. Адмирал просил передать лицу, что читает северные сводки с профессиональным удовольствием и просит не разочаровывать». Понимайте как хотите, я понимаю так: у вас там появился болельщик с той стороны. Странная это война, Нахимов. Впрочем, других не бывает.

Схему семь берегу. Берегите и вы — то, что там у вас вместо схемы.

Строев».

Я перечитал дважды и отдал письмо Пухову — в реестр, в раздел, который он завёл без моего приказа и назвал, с несвойственной ему поэзией, «Связь театров».

— Ответ будете писать? — спросил Пухов.

— Буду. Короткий. Пишите: «Ваше высокопревосходительство. Демидовского курсанта — в мою школу по выпуску, лично прошу. Веннену при случае передайте: не разочарую. Нахимов». Всё.

— Всё?

— Всё, Семён. Мы со стариком люди военные: остальное — в сводках.

Кампанию прессы Верейская развернула в тот же вечер, с холодной деловитостью артиллериста, получившего сектор.

— Семь недель, — сказала она, разложив на столе листы, как я раскладываю карты. — План такой: даю по очерку в неделю, по нарастающей. Эшелон Т-4 — с фамилиями спасённых и с накладной, где люди названы грузом: пусть империя прочтёт эту графу глазами. Потом Гаген и оркестр. Потом школа на Крайнем — та девочка с контрольной, я уже говорила с её отцом. К прибытию вашего Смотрящего каждый его матрос будет знать этот театр по именам. Отменять именной театр приказом «перестроиться» — на это нужна смелость, которой у смотровых адмиралов не водится. Верно я понимаю замысел, командующий?

— Верно до неприличия, — отозвался я. — Графиня, вам никогда не говорили, что из вас вышел бы отличный начальник штаба?

— Говорили, — сказала Верейская, собирая листы. — Вы. Сейчас. Я записала: пригодится для мемуаров.

Десять минут по расписанию я провёл в тот же вечер — порядок есть порядок, даже если порядок этот я завёл против себя самого.

Сел в каюте, поставил песочные часы — настоящие, стеклянные, подарок Асты Ковач «для медленных мыслей» — и разрешил себе думать про очередь.

Пять человек между мной и отцом. Двое просятся на фронт, вдохновлённые газетами. Судьба играет мной в игру, в которую я не садился.

Я честно думал об этом семь минут из десяти и к исходу седьмой сформулировал то, что подозревал с самого начала: думать тут не о чем. Очередь — это не задача, у задачи есть решение. Очередь ведёт себя как погода: её учитывают, под неё не подстраиваются. Всё, что я мог сделать со своей стороны доски, я делал и так: воевал, как умею, и берёг людей, как умею.

Если этому миру угодно тащить меня по лестнице, которую я не выбирал, — пусть тащит; на каждой ступеньке я всё равно буду делать одно и то же.

На восьмой минуте в дверь заглянула Марфа Игнатьевна — без стука, по праву, которое не обсуждалось.

— Сидишь, — констатировала она, оглядев часы. — Опять минуты свои отсиживаешь.

— Отсиживаю, Марфа Игнатьевна. По расписанию.

— И чего надумал?

— Надумал, что думать не о чем.

— Ну и слава богу, — сказала она с глубоким удовлетворением. — Я тебе всегда говорила: где не надумывается, там и не надо. Пошли ужинать, у меня для тебя каша с горячим отдельным. И часы эти переверни — нечего им впустую стоять, пусть хоть кашу отмеряют.

Я перевернул часы, закрыл опись и пошёл ужинать.

Из всех моих штабов этот был первым, где стратегическую тревогу лечили кашей с горячим отдельным. И, судя по результатам кампании, метод работал не хуже прочих.

Письмо от Аркадия догнало меня в конце недели, с фельдъегерской почтой, и было оно непривычно длинным.

Брат писал о столице — сжато и зло, как научился за этот год: о панике первых недель, сменившейся привычкой; о том, что война на севере стала темой салонов («у нас теперь модно разбираться в снабжении, Дмитрий, — если бы ты знал, как это выглядит»); о том, что Дом перестроился на военные подряды и что отец в свои семьдесят три помолодел на десять лет, потому что впервые за жизнь торгуется не за место при дворе, а за сроки поставки брони.

Главное лежало в конце.

«Теперь о том, о чём ты не спрашиваешь, и именно поэтому пишу.

После Николая и Владимира — и после того, как в первый месяц войны погибли на мобилизационных должностях Пётр-старший и Алексей, ты их не знал, — очередь выглядит так, что писать её цифрой мне физически неприятно, поэтому напишу словами: между тобой и отцом осталось пять человек. Из этих пяти двое просятся на фронт — вдохновлённые, чёрт бы всё побрал, твоими подвигами в газетах.

Я говорил тебе когда-то, что не могу играть против фигуры, не зная её цели. Так вот, теперь я вижу цель, только не твою, а судьбы, и мне это не нравится, брат. Судьба играет тобой в игру, в которую ты не садился. Помни об этом, когда в следующий раз полезешь лично на переговоры под прожектора — да, мне доложили, у Дома теперь свои источники на севере, отец расщедрился.

Береги себя. Пишу это не как распорядитель актива Дома — как человек, у которого за год из двадцати двух братьев осталось семнадцать и который внезапно выяснил, что умеет их считать не по стоимости.

Аркадий».

Я сидел над письмом долго.

Потом достал свою длинную опись и внёс строку: «Очередь: пять. Не думать. Пункт невыполним — думать разрешаю раз в неделю, по расписанию, десять минут. Как о минном поле: знать, где лежит, и не ходить».

А ниже, подумав, добавил вторую: «Аркадий научился считать братьев не по стоимости. Занести в список побед кампании. Место в списке — выше Вязья».

Глава 6. СамДурак организует всё сам

Про адмирала Хёгеля я говорил штабу ещё на переходе: всё, что с ним случится в этой кампании, он организует себе сам. Наша задача — вежливо не мешать.

Докладываю, как это выглядело на практике.

Первый корпус, получив задачу «обеспечение тыла», взялся за неё со всей энергией человека, который четвёртую неделю ждал самостоятельности и считал охрану обозов оскорблением своих дарований. Из перехватов — фельдъегерская связь фельдъегерской связью, а корпусная сеть Хёгеля работала открытым текстом, потому что шифрование «снижало темп управления», цитата, — мы за трое суток узнали о Первом корпусе всё, включая любимое слово командира. Любимое слово было «решительно».

Хёгель решительно разделил корпус на восемь поисковых групп. Решительно разослал их по рудным пустошам «для выявления и уничтожения баз противника». И решительно назначил срок: две недели на полную зачистку района, о котором его собственный начальник штаба группы писал, что района нет на картах.

— Восемь групп по четыре-пять вымпелов, — доложил Ольсен, нанося обстановку. — Идут расходящимися лучами, интервалы между группами — до двадцати часов хода. Взаимная поддержка невозможна.

Штаб смотрел на схему. Схема выглядела как учебный плакат «Найди восемь ошибок».

— Господа, внимание, сейчас будет главное правило работы с СамДураком, записывайте: с СамДураком нельзя воевать. Ему нельзя устраивать засаду — потому что любая наша активность есть для него «обнаруженный противник», доклад наверх, и Мерц получает основания забрать у него задачу и прислать сюда кого-то умного. СамДурак на нашем районе — это стратегическая ценность, господа, его надо беречь, как Кестер бережёт свои тропы. Поэтому первые десять суток мы не делаем ничего.

— Совсем? — не поверил Штоф.

— Совсем, Карл. Мы прячемся так, как умеем только мы, и даём Первому корпусу две недели решительно искать нас в пустоте. Семён, посчитайте мне расход топлива восьми поисковых групп на двухнедельный поиск в дальнем районе.

Пухов посчитал. Озвучил. Бурый, услышав цифру, крякнул.

— Именно. Он за две недели сожжёт на поиски нас больше, чем мы отобрали у них за месяц. Не найдя никого. Господа, запомните это как классику: иногда лучшая операция — это отсутствие операции. Противник, воюющий с пустотой, разоряет себя сам, а докладывать о победе над пустотой не умеет даже СамДурак.

Десять суток мы честно не существовали.

Соединение стояло в глубоком схроне на дальней рудной ветке — тёмное, холодное, на минимальных режимах, — и занималось тем, чем занимается всякая правильная армия, когда нельзя воевать: учёбой и бытом. Школа работала по расписанию. Ланской гонял призовые команды по вводным. Марфа Игнатьевна объявила «банно-прачечную неделю» и провела её с такой энергией, что Бурый вполголоса сравнил её с зачисткой района — «только у неё, в отличие от Хёгеля, результат есть».

Поисковые группы Первого корпуса тем временем решительно бороздили пустоши. Дважды они проходили в опасной близости от троп Кестера, и оба раза тропы промолчали. Один раз группа наткнулась на старый пустой схрон — законсервированный ещё до войны, без единого следа, — и корпусная сеть три часа гудела докладами об «обнаруженной базе противника». К вечеру Хёгель отрапортовал в штаб группы об «уничтожении опорного пункта». Пункт, судя по записи стрельбы, оборонялся отчаянно: по нему выпустили шестьсот снарядов.

— По пустой скале, — сказал Ланской, слушая перехват. — Шестьсот снарядов главного калибра по пустой скале.

— Лейтенант, — сказал я, — не по пустой скале. По докладу наверх. Это разные цели, и вторая для Хёгеля важнее. Учитесь читать чужую войну: половина всех снарядов в истории выпущена не по противнику, а по собственному начальству.

На одиннадцатые сутки, как я и рассчитывал, у Первого корпуса кончилось терпение вместе с топливной нормой, и Хёгель сделал ход, ради которого мы десять суток мёрзли в схроне.

Он решил, что раз противника нет в пустошах, значит, противник прячется среди своих. И повёл корпус — не группу, корпус, стянув все восемь лучей в кулак, — на единственную «базу противника», которую мог найти на любой карте.

На Крайний.

Перехваченный приказ по Первому корпусу Пухов принёс мне в четыре утра, и формулировка в нём стояла такая, что я перечитал трижды: «...произвести демонстрацию силы в отношении узла Крайний с целью принуждения к выдаче лиц, причастных к нападениям на коммуникации группы».

Демонстрация силы. В отношении узла, где стояли сорок тысяч эвакуированных, госпиталь и четыре тысячи двести человек эшелона Т-4.

— Санкция штаба группы на приказе отсутствует, — добавил Пухов. — Хёгель идёт самовольно. По корпусной сети прошло его личное: «Победителей не судят, а снабженцев я и слушать не стану».

В штабе стало тихо — той особой тишиной, которая у нас означала, что смешное кончилось.

— Обстановка. Времени до подхода корпуса к Крайнему?

— Пятьдесят часов, если пойдут его маршрутом, — сказал Ольсен. — Маршрут в приказе есть: он идёт по главной навигации, парадно. Через переход Косой Створ.

Я посмотрел на карту, и карта, как это бывает в лучшие минуты нашего ремесла, посмотрела в ответ.

Косой Створ. Узость старой навигации, шесть часов хода, стены из рудных отвалов. Мы проходили его дважды и оба раза Кестер ворчал, что «тут бы я в своё время такого наставил».

— Господа. Десять суток мы берегли СамДурака как стратегическую ценность. Объявляю: ценность себя исчерпала. Корпус, идущий пугать госпиталь, перестаёт быть смешным. Слушайте замысел. Кестер — Косой Створ, все изделия, что берегли, срок — тридцать часов, тропы ваши, успеете?

— Обижаешь, — сказал Кестер.

— Бурый — заслон на выходе из Створа, весь «Венец». Ланской — призовые команды в готовность: сдающихся будет много, помяните моё слово. Штоф... — я помолчал. — Карл, вам самая тонкая часть. За два часа до входа корпуса в Створ вы выйдете в их корпусную сеть — она открытая, грех не воспользоваться — и от имени тылового коменданта Крайнего... империя своих комендантов на узле не держит, но Хёгель этого не знает... запросите у адмирала Хёгеля условия сдачи узла.

Штоф моргнул.

— Сдачи?..

— Сдачи, Карл. Испуганным голосом. Пусть СамДурак за два часа до Створа уверует, что узел уже сломлен его решительностью и надо только успеть первым, пока лавры не перехватил штаб группы. Человек, спешащий к капитуляции противника, не тралит узостей. Проверено на четырёх армиях.

Хёгель вошёл в Косой Створ на рассвете по корабельному, походной колонной, с интервалами мирного времени.

За двадцать минут до того Штоф отыграл в эфире свой лучший, по моей оценке, выход сезона — дрожащим голосом пожилого тыловика он умолял «его превосходительство не применять силу к гражданским ярусам» и выторговывал «хотя бы шесть часов на согласование с вице-адмиралом Гагеном», и Хёгель, перебив его на полуслове, продиктовал условия, которые я велел записать целиком как памятник жанру: «Никаких шести часов. Узел выбрасывает сигналы покорности немедленно. Лично адмиралу Хёгелю обеспечить швартовку у главного яруса. Оркестр не обязателен, но желателен».

— Оркестр не обязателен, но желателен, — повторил Бурый с чувством. — Ваше благородие, а ведь он с Юбилейным одной школы.

— Одной, Захар. Сейчас будет выпускной экзамен.

Первые изделия Кестера корпус собрал на втором часу хода по Створу — сразу тройку, головным охранением, — и дальше произошло то, что происходит с решительными людьми в узостях: Хёгель не остановился. Остановиться означало доложить наверх, что корпус застрял на минах по пути к самовольной операции; вперёд лежала капитуляция с желательным оркестром. Он приказал «форсировать заграждение решительным броском».

Решительный бросок через минную узость длился три часа сорок минут и стоил Первому корпусу девяти вымпелов из двадцати шести. На выходе из Створа остатки колонны, потерявшей строй, ход и волю, встретил заслон Бурого — свежий, развёрнутый, с прожекторами.

Я снова вышел в эфир сам.

— Первому корпусу. Говорит контр-адмирал Нахимов. Узел Крайний, куда вы так спешили, — перед вами, в шести часах хода, и на нём действительно ждут: госпиталь на восемьсот коек, сорок тысяч эвакуированных и оркестр — тот самый, желательный. Оркестр, так и быть, сыграет. Условия прежние, вы их знаете от каждого экипажа, который я отпускал: жизнь, довольствие, квитанции. На решение — десять минут. Адмирала Хёгеля отдельно уведомляю: его личный доклад о сегодняшней операции я готов приложить к условиям сдачи в нередактированном виде — пусть его судьбу в Конкордате решает его собственный слог.

Сдались одиннадцать вымпелов из семнадцати уцелевших. Шесть прорвались назад через собственное минное поле — я не преследовал: каждый ушедший вёз в группу лучший доклад о нас, какой можно сочинить.

Флагман Хёгеля сдался предпоследним. Сам адмирал, как доложила призовая команда, встретил их у трапа при полном параде и первым делом потребовал зафиксировать протоколом, что он «стал жертвой заранее спланированной провокации».

— Зафиксировали? — спросил я Ланского.

— Дословно, господин контр-адмирал. Он ещё потребовал занести, что его подвело командование группы, недодавшее сил.

— Тоже зафиксируйте. И передайте адмиралу Хёгелю моё личное восхищение: человек, которого подвели все, кроме него самого, — это цельная жизненная позиция. Таких надо беречь. Довольствие — по норме, портфель... портфеля у него нет? Жаль. Ну, значит, просто довольствие.

Про жизнь в схроне эти десять суток тоже занесу пару строк — для полноты картины и потому, что Верейская всё равно уже всё описала, а мемуарам положено спорить с прессой.

Холодный режим — это когда тепло только в жилых ярусах, свет вполнакала, горячее — по расписанию, а главное занятие свободной смены — не шуметь. На третьи сутки такой жизни любой экипаж начинает тихо звереть, и лечится это единственным лекарством, проверенным на двух театрах: расписанием, набитым до отказа.

Школа шла двумя потоками. Бурый гонял абордажные группы по холодным ярусам — «привыкайте, в бою отопления не подвезут». Ольсен читал молодым аналитикам курс, который сам же и назвал «Скука как разведпризнак». А по вечерам, вместо запрещённой громкой поверки, завёлся жанр, которого я не заводил и который расцвёл сам: тихие байки.

Рассказывали шёпотом, в кают-компании, при свече — электричество экономили. Штоф царил: его репертуар от «номера с колокольчиком» до «оркестр не обязателен» шёл по третьему кругу и обрастал подробностями, которых не было. Ветераны Сурама рассказывали новикам про пенный флот и кота Реактора, и я однажды, стоя в темноте у двери, услышал, как молодой катерник из пополнения спросил с сомнением: «Ну кот-то хоть настоящий был?» — и как ему ответили с четырёх сторон, оскорблённо и хором: «Кот — на довольствии!»

Я ушёл от двери, унося главный вывод десятых суток: соединение, у которого в темноте и холоде главный спор — про кота, к бою готово.

Разбор «восьми ошибок Хёгеля» в школе провели через неделю после боя, и вёл его — по моему назначению — Ланской.

Это тоже был расчёт: молодым про глупость должен рассказывать молодой, у ровесника она усваивается без скидки на «нам, старикам, виднее». Ланской разобрал всё: расходящиеся лучи, открытую сеть, шестьсот снарядов по скале, спешку к чужой капитуляции, — а в конце повесил на доску лист с единственной фразой и сказал:

— А теперь главное, и это не про Хёгеля. Командующий велел закончить разбор вопросом, я заканчиваю. Вот приказ Хёгеля о «решительном броске» через минную узость. Вопрос школе: кто из присутствующих поручится, что, оказавшись старшим в узости, под потерями, со сдачей противника в шести часах впереди, — не отдал бы такой же?

Класс молчал.

— Вот и я не поручусь, — уточнил Ланской. — Поэтому у нас в каждой карточке следующего действия первым пунктом стоит не «вперёд» и не «назад». Первым пунктом стоит «остановись и посчитай». СамДурак у нас не фамилия, господа. Это диагноз, от которого не привит никто. Прививка делается вот здесь, — он постучал по доске, — по вторникам и пятницам. Не опаздывайте.

Мне доложили, и я вписал Ланского в короткий список — тот, который не показываю никому и в котором значатся люди, способные однажды принять у меня соединение. Список стал длиннее на строку. Хорошая была неделя.

Отдельной строкой — быт пленного адмирала, потому что без этой строки портрет СамДурака неполон.

На третий день Хёгель через коменданта передал письменную претензию: питание пленных офицеров «не соответствует различию в чинах» — его кормили с общего котла, как всех. Претензию, по заведённому порядку, отписали в службу горячего питания.

Марфа Игнатьевна прочла, поджала губы и лично отнесла адмиралу обед: тот же борщ, ту же кашу — но на подносе, с полотняной салфеткой, сложенной корабликом.

— Вот. Различие в чинах. Салфеточка. Ешь, горе луковое, вон отощал на своих концентратах.

Хёгель, как доложил конвой, поизучал салфетку, съел всё и претензий больше не подавал. А через неделю комендант с удивлением докладывал, что пленный адмирал интересуется, «по какому наставлению варится первое блюдо, ибо в Конкордате подобного эффекта добиться не удавалось».

— Ответить? — спросил комендант.

— Ответьте, — разрешил я. — Дословно: наставление секретное, передаётся только с присягой. Пусть думает. СамДурак с мечтой о борще — это уже наполовину наш СамДурак.

Из очерка О. Верейской «Шестьсот снарядов» («Транзитный вестник»):

«Мне показали запись: боевой корпус противника сорок минут расстреливает главным калибром мёртвую скалу, докладывая наверх об уничтожении вражеской базы.

Смеяться легко. Я предлагаю посчитать.

Шестьсот снарядов главного калибра — это годовая выработка орудийного завода средней руки. Это тысячи человеко-смен рабочих метрополии Конкордата, это руда, это конвои,

которые везли этот боезапас через полгалактики — мимо, к слову, наших призовых команд, бравших с них пошлину.

Всё это вложено в скалу.

Здесь, на театре, говорят: командующий запрещает ненавидеть противника и предписывает над ним смеяться, потому что смеющийся штаб не паникует. Добавлю от себя, штатского человека: на смехе, господа, держится ещё и отчётность. Противник зовёт Нахимова Бухгалтером и думает, что это обидно. Судя по скале, счёт пока сходится не в их пользу».

Гердан-Северный, штаб группы. Трое суток спустя.

Совещание шло второй час, и маршал Ланц молчал уже двадцать минут — с той минуты, как дочитал сводку потерь Первого корпуса.

— Мерц, — сказал он наконец. — Скажите это вслух. Вы заслужили.

— Не имею намерений, господин маршал.

— Имеете. Вы предупреждали протоколом, я поручил Хёгелю, корпус потерян наполовину, самовольно, с позором, о котором противник, будьте уверены, уже известил оба государства. Скажите ваше «я предупреждал», Мерц, и перейдём к делу.

Мерц выдержал паузу.

— Господин маршал, — повторил он. — «Я предупреждал» — это роскошь для мемуаров. По делу: у группы больше нет ресурса на ошибки такого класса. Наступление на Двину без обеспеченного тыла невозможно, тыл без зачистки района невозможен, зачистка силами исполнителей уровня Хёгеля — вы видели. Остался один командир, чей уровень соответствует противнику, и мы оба знаем, почему этот командир до сих пор на вторых ролях.

Долгая тишина.

— Столица её не любит, — возразил Ланц. — Двор её не любит. Она из низов, Мерц, она говорит начальству то, что думает, она...

— Она воюет, — подтвердил Мерц. — Господин маршал, я прошу занести в протокол моё представление: командующим силами обеспечения тыла группы назначить адмирала Дану Корвель. С подчинением ей остатков Первого корпуса, выделенных двадцати вымпелов и всех разведорганов направления. И с полной свободой действий.

Ланц смотрел в переборку.

— Он ведь этого и добивался, — сказал он тихо. — Ваш Нахимов. Всё это время. Он выбивал моих командиров одного за другим, пока у меня не останется выбора, кроме неё.

— Да, господин маршал, — начал Мерц. — Полагаю, именно так. Единственное, что нас извиняет: выбор, к которому он нас принудил, — впервые за кампанию правильный.

Ланц взял стилус и подписал.

— Да поможет нам штаб. Зовите Волчицу.

Приказ ушёл в метрополию тем же вечером, за номером, без сопроводительной записки. Копию Мерц подшил в дело и пометил на полях одно слово, которого в деле быть не должно: «наконец».

Глава 7. Волчица выходит

О назначении Корвель мы узнали через четверо суток — по косвенным признакам, что само по себе было первым звонком: до сих пор о кадровых решениях группы я узнавал из их же открытой болтовни раньше, чем о них узнавали исполнители.

Признаки были такие. Корпусная сеть остатков Первого корпуса замолчала — не зашифровалась, а замолчала: кто-то выключил привычку болтать одним приказом. Ритм конвоев сломался: вместо «раз в шестеро суток» пошла рваная сетка без системы. И с рудных пустошей вернулись двое проводников Кестера с одинаковым докладом: на старых дорогах появились чужие — не корабли, люди. Малые досмотровые партии, тихие, без опознавательных, ходят по заброшенным станциям и разговаривают с транзитниками. Не арестовывают. Разговаривают.

Я собрал штаб и положил на стол досье Корвель — то, тонкое, из шести листов, к которому за месяц не прибавилось ни страницы, и это тоже было признаком.

— Господа, доношу перемену обстановки, и прошу выслушать серьёзно, без привычного веселья. Волчица приняла тыл группы. Разбираю, что мы видим, по пунктам. Пункт первый: она заткнула сеть. Это значит — она первая у них поняла, что мы воюем их же информацией, и лишила нас корма. Пункт второй: она сломала ритм. Все наши операции, все до единой, строились на их регулярности — конвои по графику, проверки по расписанию, реакции по уставу. Регулярность кончилась. Пункт третий, главный: она пошла говорить с людьми. Не документы проверять — Мерц проверял документы, и мы его обыграли, потому что документ можно подделать. Она ищет нас там, где подделать нельзя: в том, что помнят транзитники, старатели, заправщики. Она ищет наши тропы через людей.

— Найдёт? — спросил Бурый.

— Часть — найдёт, — сказал Кестер вместо меня, мрачно. — Люди не железо. Кто продаст, кого прижмут. Я уже дал команду сворачивать восточные ветки, но, командующий, честно скажу: такую, как эта, я в поясе не видал. Мои говорят — она с досмотровой партией сама ходит. Адмирал. Сама. Сидит с транзитником, чай пьёт, про жизнь спрашивает. Про жизнь, понимаешь? А из «про жизнь» у неё карта складывается.

— Потому что она сама из транзитной жизни. — Я сделал шаг от карты. — Из низов, с дальних рубежей. Она не изучает эту среду — она в ней своя. Господа, формулирую новое положение, Пухов — в реестр, крупно: впервые за кампанию против нас работает командир, который воюет не по наставлению, а по местности и по людям. То есть так, как воюем мы. Все наши шаблоны с этой минуты считать скомпрометированными. Все.

— И что взамен шаблонов? — спросил Ланской.

— Взамен шаблонов, лейтенант, — думание, — сказал я. — Дорогое, медленное, штучное. Война только что подорожала для обеих сторон. Это, к слову, лучший комплимент, который противник может сделать: до сих пор мы воевали дёшево, потому что нам позволяли.

Две недели после этого совета прошли в странной тишине, и тишина эта мне не нравилась тем сильнее, чем была глубже.

Волчица не делала ничего громкого. Конвои шли — рваной сеткой, с разным охранением, без системы. Досмотровые партии ходили по пустошам — вежливые, по докладам транзитников: платили за сведения, не жгли, не вешали. Пару раз наши дальние дозоры засекали одиночные корабли на старых ветках — и корабли уходили, не принимая контакта.

— Она составляет карту, — доложил Ольсен на исходе второй недели. — По совокупности: она прощупала одиннадцать старых веток из известных нам семнадцати. Если положить её маршруты на нашу сеть... — он положил, и стало неуютно, — она движется правильно. Не наугад — по логике грузопотока. Ещё две-три недели такого темпа, и она выйдет на действующие тропы.

— Значит, у нас две-три недели, чтобы дать ей то, что она ищет.

Штаб посмотрел на меня.

— Поясняю замысел. Прятаться дальше бессмысленно: от того, кто ищет через людей, не спрячешь сеть, которой пользуются люди. Когда противника нельзя лишить находки — ему надо управлять находкой. Мы дадим Волчице найти тропу. Настоящую — фальшивую она распознает, я бы распознал. Настоящую действующую ветку, на которой она устроит то единственное, что имеет смысл устраивать на вражеской тропе.

— Засаду на призовую команду, — тихо сказал Бурый.

— Засаду на призовую команду, — подтвердил я. — А мы, зная место, придём на её засаду со своей. Классика: охота на охотника. Кестер, нужна ветка, которую не жалко засветить, но за которую она поверит. Бурый — дежурная группа перехвата, лучшие экипажи, готовность с момента... Что, Захар?

Бурый смотрел на карту тяжело.

— Ваше благородие. Разрешите сомнение, по уставу нашей школы. Мы сейчас планируем поймать её на том, что она умная и найдёт тропу. А она планирует поймать нас на том, что мы умные и придумаем ровно это. Я на её месте... — он поводил пальцем, — я бы на её месте дал себя увидеть у ложной цели, а бил бы в другом месте. Там, где у нас привычка.

В штабе стало очень тихо.

Я смотрел на карту, и внутри у меня — впервые за эту кампанию — не было ясности. Было то забытое, зудящее чувство из молодости, из войн, где напротив сидел равный: чувство зеркального коридора, где каждый твой расчёт уже посчитан, и вопрос лишь в том, на какой глубине кто остановился.

— Захар прав, — сказал я медленно. — И я прав. И она, что самое поганое, тоже права, причём в обе стороны сразу. Господа, решение: работаем обе версии. Ловушку на тропе готовим в полную силу. И одновременно — Семён, список всех наших «привычек»: типовых профилей добычи, на которые мы выходим не думая. Всё, что мы делали больше двух раз одинаково.

Пухов составил список за час. В списке было четыре пункта, и против третьего я остановился.

«Топливные конвои малого охранения: перехватываются всегда, приоритетно, силами призовых групп по типовой схеме».

Всегда. Приоритетно. По типовой схеме.

— Вот сюда она и ударит, — заметил я. — Не на тропе, где мы умные. Здесь, где мы жадные.

Он появился через шесть суток — топливный конвой малого охранения, жирный до неприличия: четыре тяжёлых заправщика, два корвета охраны, маршрут краем нашей зоны досягаемости.

Всё в нём было правильно. Слишком правильно — и одновременно недостаточно слишком: Ольсен трое суток препарировал его проводку и не нашёл ни одного признака подставы. Настоящие заправщики, настоящий график, настоящая нужда Второго корпуса в топливе за этим графиком.

— Оценка? — спросил я штаб.

— Пятьдесят на пятьдесят, — честно сказал Ольсен. — Либо это её ловушка, собранная безупречно. Либо это просто конвой, а мы уже видим Волчицу в каждой тени, чего она, возможно, и добивается: противник, который никуда не идёт, потому что всюду подозревает засаду, нейтрализован бесплатно.

И это была правда, и это был тупик, знакомый мне по лучшим войнам: когда обе ошибки стоят дорого — и пойти в ловушку, и не пойти за добычей.

Решение я принял такое: идём, но не по типовой схеме. Состав перехвата — двойной: призовая группа Ланского плюс, скрытно, в стороне и в тени, группа прикрытия Бурого, о которой не знал даже Ланской — не из недоверия, а потому что человек, знающий о прикрытии, ведёт себя на полтона спокойнее, а этот полтона слышен. Точка перехвата — не расчётно-удобная, а на два часа раньше, где нас ждать не должны. Отход — по запасной нитке.

Я перебрал этот план потом тысячу раз, бессонными ночами, и докладываю выводы честно, как учу школу: план был хорош. План учёл всё, кроме одного.

Она тоже учла, что я учту всё.

Засада стояла не у конвоя.

Конвой был настоящий — до последней тонны; она пожертвовала нам четыре заправщика, как жертвуют фигуру за темп. Засада — восемь вымпелов в холодном дрейфе, суточной выдержки, без единого активного сигнала — стояла на нашей запасной нитке отхода. Не на типовой схеме, которую я поменял. На моей поправке к типовой схеме. Она просчитала не мою привычку — она просчитала мою привычку исправлять привычки, и это, господа, уровень, за который в моём прошлом мире я брал офицеров к себе в штаб после первого же боя против них.

Ланской взял конвой чисто, довернул на запасную нитку — и вошёл в огонь.

Дальше было четырнадцать минут, которые я слушал из центра управления, и не дай бог никому таких четырнадцати минут: когда твоя группа дерётся в чужой геометрии, а ты — в получасе подлёта силами прикрытия и в полной ясности, что опоздаешь.

Спасли два обстоятельства, и оба были не везением — выучкой.

Первое: карточки следующего действия. Группа Ланского, поймав первый залп, не смялась — рассыпалась по вбитой схеме «удар из тени», дымы, помехи, отход перекатами, каждый экипаж знал свой следующий шаг без команд. Второе: сам Ланской, который, будучи раненным осколком кожуха в первые же минуты, вёл отход так, что я, слушая его доклады — ровные, с паузами на боль, — поймал себя на том, что горжусь посреди беды.

Бурый с прикрытием дошёл за девятнадцать минут вместо тридцати — как, он потом отказался объяснять формулами, сказал только: «Спрямил». Волчица приняла новую вводную мгновенно: её восьмёрка дала три залпа по подходящему прикрытию — точных, злых, — и вышла из боя. Не побежала — вышла: строем, с прикрытием собственного отхода, не оставив нам ни обломка для протокола.

Она не стала дожимать. Ей не нужен был размен. Ей нужен был урок — и она его дала.

Итог четырнадцати минут: из призовой группы в одиннадцать вымпелов мы потеряли два. Корвет «Настойчивый» — со всем экипажем, восемнадцать человек. Призовая партия старшины Гриднева на головном заправщике — девять человек, приз пришлось бросить горящим. Ланской ранен, ещё одиннадцать раненых по группе. Тела с «Настойчивого» забрать не удалось.

Первые серьёзные потери тома. Я записываю это так сухо, потому что иначе не могу: двадцать семь фамилий я прочту ниже, на поверке, и пусть они стоят там, где им положено стоять, — перед строем, а не в аналитике.

В лазарет к Ланскому я пришёл на третьи сутки — раньше не пускал наш сутулый майор, у которого чины кончались на пороге приёмного покоя.

Лейтенант лежал с зафиксированным плечом и с тем особенным лицом, которое я знаю наизусть: лицо командира, который в сотый раз прокручивает бой и в сотый раз проигрывает.

— Господин контр-адмирал. Виноват, встать не могу.

— Лежите. Докладывать тоже не надо: я слушал каждое ваше слово в реальном времени и читал все записи. Я пришёл сказать три вещи, лейтенант, слушайте и не перебивайте, у вас плечо. Первая: за бой вам благодарность в приказе. Не за храбрость — храбрость на войне товар дешёвый. За то, что раненым вели отход перекатами и не потеряли управление ни на

секунду. Это дорогой товар. Вторая вещь: если вы сейчас лежите и ищете, где вы ошиблись, — прекратите. Вы не ошиблись нигде, я проверял трижды, с Бурым и Ольсеном. Ошибка была выше, в схеме, схему утверждал я, о чём объявлено соединению. Ваша часть боя — образцовая, и она пойдёт в сборник как образцовая.

Ланской молчал, глядя в подволок.

— А Гриднев? — сказал он наконец. — Гриднев с партией был на заправщике по моему распределению. Я мог поставить туда...

— Могли. И тогда лежали бы сейчас и спрашивали себя про тех, кого поставили вместо. Лейтенант, это арифметика, у которой нет решения, есть только правило: распределение, сделанное честно и по делу, не пересматривается задним числом. Вы ставили Гриднева как лучшего на самое ответственное место. Он и был лучший. Война бьёт по лучшим — она тоже умеет распределять. Всё, что мы можем, — сделать так, чтобы её распределение обходилось ей дорого. Этим и займёмся, как встанете.

— Третья вещь, — напомнил Ланской. — Вы сказали, три.

— Третья. — Я достал копию передаточной ведомости и положил ему на одеяло. — Читайте. Вам персонально — вторая половина.

Он прочёл. Дошёл до «отход перекатами был выполнен грамотно» — и я увидел, как у мальчика дрогнуло лицо.

— Она... — он поискал слово. — Она разбирает наши бои?

— Она разбирает наши бои, лейтенант. Как мы — её. Привыкайте: вы теперь воюете на театре, где противник ставит вам оценки, и оценки, замечу, заслуженные. Выздоравливайте. Ваша следующая пятёрка ещё впереди.

Поверку проводили на вторые сутки, всем соединением.

Двадцать семь фамилий заняли у меня шесть минут. Гриднев Матвей Ильич, старшина призовой партии, — из первого сурамского набора, из тех, кто когда-то красил «Марию». Экипаж «Настойчивого» — поимённо, командиром до замыкающего.

Потом я сделал то, что обязан был сделать и что откладывал два года, потому что до сих пор не было случая такого чистого, как этот.

— Разбор боя, — сказал я строю, — будет в школе, по всей форме, послезавтра. Но один вывод я обязан объявить здесь, перед этими фамилиями, потому что он не тактический. Слушайте внимательно и запомните дословно. Группа попала в засаду не потому, что кто-то ошибся в бою. Группа попала в засаду потому, что противник просчитал схему, которую утвердил я. Моя схема. Моя поправка. Моя недооценка. Командующий, который прячет это за словами «противник оказался силён», начинает врать — сначала строю, потом себе, потом картам. С карт, которые врут, я начинал эту войну у противника. У нас таких карт не будет. Ошибка — моя. Цена — вот она, я её только что прочёл. Всё, что я могу обещать этим двадцати семи, — что ошибка оплачена и в реестр внесена. По моей графе.

Строй молчал. Потом из шеренги ветеранов — не по уставу, глухо — сказали:

— На то и война, ваше благородие. Она и вас учить имеет право.

— Имеет, — сказал я. — Разойтись по постам.

Вечером Марфа Игнатьевна принесла мне горячее отдельное, поставила и не ушла — села напротив, что означало разговор.

— Митенька. Я чего спросить хочу. Ты этой... Волчице... ты ей теперь что? Мстить будешь?

— Нет, Марфа Игнатьевна.

— А что будешь?

Я подумал, подбирая слово, и нашёл его не сразу — потому что слово было из другой жизни, из тех времён, когда напротив меня ещё случались равные.

— Соответствовать.

Разбор в школе шёл четыре часа, и закончился он нововведением, которое потом расползлось по всему имперскому флоту под названием, которого я не выбирал.

Сначала Бурый с Ольсеном по минутам разложили, как она нас читала: список наших операций её глазами, профили добычи, типовую схему, мою поправку — и точку, где она остановилась на глубину глубже моей. Школа слушала так, что было слышно вентиляцию.

— Вывод, — сказал я, когда разбор дошёл до дна. — Против противника, который читает ваши решения, есть три защиты. Первая — решать лучше. Работаем над этим всю жизнь, но у неё та же работа, и гарантий нет. Вторая — решать быстрее, чем он читает. Тоже работаем. И третья, господа, самая надёжная: иногда — не решать вообще.

Класс смотрел непонимающе.

— Поясняю. Любое моё решение — продукт моей головы, а мою голову она изучает, как я изучаю её. Но есть вещи, которые не может просчитать никто, потому что в них нечего просчитывать. Семён, покажите.

Пухов, торжественный, как на присяге, выложил на стол кубик. Обычный игральный кубик, выточенный вчера в мастерской из бронзовой заглушки.

— С этого дня, — сказал я, — во всех операциях, где противник может играть против нашего выбора, финальный выбор из равноценных вариантов — маршрута отхода, точки перехвата, порядка групп — делается жребием. Не мной. Не штабом. Костью. Штаб готовит три равноценных варианта — на это уходит весь наш ум. А выбирает бронза, у которой ума нет, и потому прочесть её нельзя.

— Это же... — молодой курсант с задней скамьи подбирал слова, — это же как-то не по-военному, господин контр-адмирал. Жребий.

— Юноша, — сказал я, — жребию как военному инструменту четыре тысячи лет, им пользовались полководцы, у которых я... о которых я читал всё, что написано. По-военному — это то, что работает. Волчица может просчитать меня. Пусть попробует просчитать заглушку от третьего контура.

Кубик Пухов внёс в реестр имущества отдельной строкой: «Изделие „Жребий“, бронза, 1 шт. Назначение: защита от умных». Школа немедленно окрестила процедуру «спросить у Семёныча», и под этим именем она живёт до сих пор.

Гердан-Северный, штаб группы. Неделю спустя.

Доклад об итогах первой операции сил обеспечения тыла маршал Ланц читал вслух, с выражением, и по мере чтения выражение крепло.

— «Уничтожен корвет противника, разгромлена призовая партия, потери сил обеспечения — ноль». Ноль, Мерц! Вот! Вот как надо работать! Я всегда говорил, что Корвель недооценена, — я, между прочим, лично настоял на её назначении, занесите это... что там у вас ещё?

— Приложение к докладу, господин маршал, — ровно сказал Мерц. — Адмирал Корвель ходатайствует: первое — о передаче ей всех разведсводок по противнику за два года, включая западный театр. Второе — о запрете любым штабам группы планировать операции в её зоне без её визы. Третье... — Мерц сделал паузу, — третье она сформулировала дословно так: «Прошу впредь не публиковать реляций о моих операциях. Противник читает наши реляции внимательнее, чем столица, и делает выводы быстрее».

— Это она про мою вчерашнюю реляцию? — Ланц побагровел. — Про ту, что ушла в оба государства?

— Полагаю, именно про неё, господин маршал.

Ланц прошёлся по кабинету.

— Дерзкая, — сказал он наконец, остывая. — Всегда была дерзкая... Удовлетворить все три. И, Мерц, — неофициально. Вы видели её ведомость? Эту, с возвратом пленных, с «квитанцией»? Штаб гудит. Одни говорят — рыцарство, других тошнит. Ваше мнение?

Мерц помолчал.

— Моё мнение, господин маршал: впервые за кампанию на этом театре появился наш командир, которого противник занёс в свой реестр с пометкой «опасна». И впервые — их командир получил основания полагать, что война будет вестись по правилам, которые уважают обе стороны. Не знаю, как это назвать. Знаю, что для группы это первая хорошая новость за полгода.

Вечером в дневнике он записал: «Корвель против Нахимова. Столица считает это дуэлью провинциалов. Я считаю это единственным настоящим содержанием войны. Всё остальное — мы с Ланцем — рама».

Верейская пришла ко мне за день до выхода очерка — с вёрсткой, чего никогда не делала.

— Командующий. Материал о бое. Я обязана показать вам его до печати — не для цензуры, для честности: там всё. Поражение, ваши слова на поверке, «ошибка моя, по моей графе». Двадцать семь фамилий. И её ведомость — целиком. Скажите мне прямо: печатать? Столица прочтёт, что Нахимова можно бить. Противник прочтёт то же самое.

Я пролистал вёрстку. Всё было точно — до последней паузы.

— Печатать, — начал я. — Всё как есть. Графиня, объясню расчёт, он циничнее, чем вам понравится. Столица, прочитав, что меня можно бить, снизит ожидания — а мне через месяц встречать Смотрящего, и чем ниже ожидания, тем свободнее руки. Противник, прочитав, ничего нового не узнает: Волчица знает про этот бой больше вашей редакции. А вот мои люди — и все, кто едет к нам с транзита, — прочтут главное: здесь не врут о цене. Это дороже репутации непобедимости. Непобедимость — валюта с обвалом в конце, и курс её я знаю.

— А фамилии? Родные прочтут...

— Родные, графиня, узнают раньше газеты — у нас похоронки пишутся в первые сутки, лично командирами, я проверяю каждую. Газета для родных — не известие. Газета для них — свидетельство, что империя запомнила. Печатайте.

Она собрала вёрстку и у двери обернулась.

— Знаете, что странно, командующий? Я еду с вами год. Вы проигрываете первый раз — а материал получается такой, что после него к вам поедут люди. Как у вас это выходит?

— Это не у меня выходит, — ответил я. — Это у правды. Она, если её не трогать, всегда работает на того, кто её не боится. Единственное оружие с таким свойством — потому и держу его на вооружении.

Через трое суток на нейтральной точке транзита нашим представителям передали людей.

Шестерых. Раненых с «Настойчивого», подобранных её кораблями из обломков, — тех, кого мы считали погибшими. Перевязанных, накормленных, с описью личных вещей.

И с бумагой.

Бумагу мне принесли в штаб, и я прочёл её вслух, потому что такое соединение должно слышать целиком.

Стандартный бланк Конкордата, заполненный от руки, ровным некрасивым почерком человека, который больше пишет приказы, чем письма:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.